

ЛЕВ  
ТОЛСТОЙ

---

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 2

ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ

Весь Толстой в один клик

Лев Толстой

**Полное собрание сочинений.  
Том 2. Отрочество. Юность**

«Библиотечный фонд»

1852-1856

**Толстой Л. Н.**

Полное собрание сочинений. Том 2. Отрочество. Юность /  
Л. Н. Толстой — «Библиотечный фонд», 1852-1856 — (Весь  
Толстой в один клик)

## Содержание

Лев Николаевич Толстой	6
Предисловие к электронному изданию	7
ОТРОЧЕСТВО.	10
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ТОМУ.	11
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.	12
ОТРОЧЕСТВО	15
ГЛАВА I.	15
ГЛАВА II.	19
ГЛАВА III.	22
ГЛАВА IV.	25
ГЛАВА V.	26
ГЛАВА VI.	28
ГЛАВА VII.	30
ГЛАВА VIII.	32
ГЛАВА IX.	34
ГЛАВА X.	36
ГЛАВА XI.	38
ГЛАВА XII.	41
ГЛАВА XIII.	42
ГЛАВА XIV.	43
ГЛАВА XV.	45
ГЛАВА XVI.	47
ГЛАВА XVII.	50
ГЛАВА XVIII.	52
ГЛАВА XIX.	55
ГЛАВА XX.	57
ГЛАВА XXI.	59
ГЛАВА XXII.	60
ГЛАВА XXIII.	62
ГЛАВА XXIV.	64
ГЛАВА XXV.	65
ГЛАВА XXVI.	66
ГЛАВА XXVII.	69
ЮНОСТЬ	71
ГЛАВА I.	71
ГЛАВА II.	72
ГЛАВА III.	74
ГЛАВА IV.	76
ГЛАВА V.	78
ГЛАВА VI.	79
ГЛАВА VII.	80
ГЛАВА VIII.	82
ГЛАВА IX.	84
ГЛАВА X.	86
ГЛАВА XI.	89
ГЛАВА XII.	91

Конец ознакомительного фрагмента.

93

## Лев Николаевич Толстой Полное собрание сочинений. Том 2 Отрочество. Юность

Государственное издательство  
«Художественная литература»  
Москва – 1935

Электронное издание осуществлено компаниями [ABBYU](#) и [WEXLER](#) в рамках краудсорсингового проекта [«Весь Толстой в один клик»](#)

Организаторы проекта:

[Государственный музей Л. Н. Толстого](#)

[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)

[Компания АBBYU](#)

Подготовлено на основе электронной копии 2-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной [Российской государственной библиотекой](#)

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого доступно на портале [www.tolstoy.ru](http://www.tolstoy.ru)

*Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам [report@tolstoy.ru](mailto:report@tolstoy.ru)*

## Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте [readingtolstoy.ru](http://readingtolstoy.ru) к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте [tolstoy.ru](http://tolstoy.ru).

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

*Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»  
Фекла Толстая*

# L É O N T O L S T O Ï

## O E U V R E S C O M P L È T E S

SOUS LA RÉDACTION GÉNÉRALE  
de V. T C H E R T K O F F

AVEC LA COLLABORATION DU COMITÉ DE RÉDACTION:  
K. CHOKHOR-TROTSKY, N. GOUDZY, N. GOUSSEFF, A. GROUSINSKY,  
N. PIKSANOFF, N. RODIONOFF, P. SAKOULINE, V. SRESNEVSKY,  
A. TOLSTAÏA et M. TSLAVLOVSKY

SANCTIONNÉ PAR LA COMMISSION DE RÉDACTION D'ÉTAT:  
V. BONTCH-BROULÉVITCH, J. LOUPPOL  
et M. SAVELIEFF

PREMIÈRE SÉRIE  
O E U V R E S

T O M E  
2

---

É D I T I O N D' É T A T  
M O S C O U — 1 9 3 5

# Л. Н. ТОЛСТОЙ

У 927  
27

## ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

W 492  
70

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ  
В. Г. ЧЕРТКОВА

ПРИ УЧАСТИИ РЕДАКТОРСКОГО КОМИТЕТА В СОСТАВЕ  
А. Е. ГРУЗИНСКОГО, Н. К. ГУЛЗИЯ, Н. Н. ГУСЕВА, Н. К. ПИКСАНОВА,  
Н. С. РОДИОНОВА, П. Н. САБУЛИНА, В. И. СРЕЗНЕВСКОГО,  
А. Л. ТОЛСТОЙ, М. А. ЦЫВЛОВСКОГО и К. С. ШОХОР-ТРОЦКОГО

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ  
В СОСТАВЕ В. Д. БОНЧ-БРУВНИЧА, И. К. ЛУШПОЛА  
и М. А. САВЕЛЬЕВА

СЕРИЯ ПЕРВАЯ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Т О М  
2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА — 1935

*Перепечатка разрешается безвозмездно*

*Reproduction libre pour tous les pays.*

# **ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ**

РЕДАКТОР М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ

## ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ТОМУ.

Содержание второго тома составляют «Отрочество» и «Юность».

Рукописный материал, относящийся к этим произведениям, довольно значителен.

Кроме общеизвестного текста окончательной редакции «Отрочества», в настоящем томе впервые печатаются находящиеся в архиве Л. Толстого два «плана» романа «Четыре эпохи развития» и два отрывка, представляющие собою первоначальные (до «первой» редакции) наброски «Отрочества».

Из печатаемых нами двадцати отрывков («вариантов») так называемой «первой» редакции «Отрочества» лишь пять опубликованы в 1912 году П. И. Бирюковым. Кроме этого, из неиспользованной П. И. Бирюковым «второй» редакции в настоящем томе печатаются семь отрывков.

Впервые нами печатается и глава из «Отрочества», названная в рукописи «Странная новость», не вошедшая ни в одну из сохранившихся редакций «Отрочества».

Что касается рукописного наследия «Юности», то, кроме опубликованного в 1912 г. П. И. Бирюковым «плана» повести, в архиве Л. Толстого оказалась «первая» редакция «Юности», впервые печатаемая нами (полностью). Из «второй» редакции до сих пор было опубликовано П. И. Бирюковым лишь два отрывка, нами же печатается четырнадцать.

Наконец, имеется перечень глав «Юности» с оценкой их, сделанной автором после того, как повесть была окончена. Перечень этот впервые печатается в настоящем томе.

Напечатанная в «Современнике» «Юность» имела подзаголовок «Первая половина». «Вторая половина», как известно, не была написана, но в архиве Л. Толстого имеются рукописи, указывающие, что автор начинал работать над «второй половиной». – Это помещаемые нами два ее «плана», из которых один напечатан П. И. Бирюковым, и впервые печатаемая нами первая глава с началом второй.

*М. Цявловский.*

Москва. 23 января 1928 г.

---

## РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, и с воспроизведением начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Л. Толстого и лиц его круга (цаловать, скрыпеть).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Л. Толстого (произведения, окончательно не отделанные, не оконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова, все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

На месте слов, недопустимых в печати, ставится в двойных прямых скобках цифра, обозначающая число не воспроизводящихся слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как напр., крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «кый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый» и «т[акъ] к[акъ]» лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или [2 неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что признает редактор важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся *не* в сноске и ставятся в ломаных < > скобках, но в отдельных случаях допускается воспроизведение и зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое воспроизводится курсивом. Дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного написания); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: *Абзац редактора*.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Обозначения: \*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* в оглавлении томов, на шмуцтитутах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают:

\* – что печатается впервые,

\*\* – что напечатано после смерти Толстого,

\*\*\* – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и

\*\*\*\* – что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

---



Л. Н. ТОЛСТОЙ  
1855 (?) г.

*Размер подлинника*

## ОТРОЧЕСТВО (1852—1854)

### ГЛАВА I. ПОЕЗДКА НА ДОЛГИХ.

Снова поданы два экипажа к крыльцу Петровского дома; один – карета, в которую садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и *сам* приказчик Яков, на козлах; другой – бричка, в которой едем мы с Володей и недавно взятый с оброка лакей Василий.

Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки стоит на крыльце и крестит окно кареты и бричку.

«Ну Христос с вами! трогай!» Яков и кучера (мы едем на своих) снимают шапки и крестятся. «Но, но! с Богом!» Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неровной дороге, и березы большой аллеи, одна за другой, бегут мимо нас. Мне несколько не грустно: умственный взор мой обращен не на то, что я оставляю, а на то, что ожидает меня. По мере удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрадным чувством сознания жизни, полной силы, свежести и надежды.

Редко провел я несколько дней – не скажу весело: мне еще как-то совестно было предаваться веселью – но так приятно, хорошо, как четыре дня нашего путешествия. У меня перед глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не мог проходить без содрогания, ни закрытого рояля, к которому не только не подходили, но на который и смотрели с какою-то боязнью, ни траурных одежд (на всех нас были простые дорожные платья), ни всех тех вещей, которые, живо напоминая мне невозвратимую потерю, заставляли меня остерегаться каждого проявления жизни из страха оскорбить как-нибудь *ее* память. Здесь, напротив, беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают и развлекают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу отрадные чувства – довольства настоящим и светлой надежды на будущее.

Рано, рано утром безжалостный и, как всегда бывают люди в новой должности, слишком усердный Василий сдергивает одеяло и уверяет, что пора ехать и всё уже готово. Как ни жмешься, ни хитришь, ни сердисься, чтобы хоть еще на четверть часа продлить сладкий утренний сон, по решительному лицу Василья видишь, что он неумолим и готов еще двадцать раз сдернуть одеяло, вскакиваешь и бежишь на двор умываться.

В сених уже кипит самовар, который, раскрасневшись, как рак, раздувает Митька фореитор: на дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от пахучего навоза; солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба и соломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, глянцевитые от росы, покрывающей их. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, и слышно их мерное жевание. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед зарей на сухой куче навоза, лениво потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рысцей отправляется в другую сторону двора. Хлопотунья хозяйка отворяет скрипящие ворота, выгоняет задумчивых коров на улицу, по которой уже слышны топот, мычание и блеяние стада, и перекидывается словечком с сонной соседкой. Филипп, с засученными рукавами рубашки, вытягивает колесом бадью из глубокого колодца, плеская светлую воду, выливает ее в дубовую колоду, около которой в луже уже полошутся проснувшиеся утки; и я с удовольствием смотрю на значительное, с складистой бородой, лицо Филиппа и на толстые жилы и мускулы, которые резко обозначаются на его голых мощных руках, когда он делает какое-нибудь усилие.

За перегородкой, где спала Мими с девочками, и из-за которой мы переговаривались вечером, слышно движенье. Маша с различными предметами, которые она платьем старается скрыть от нашего любопытства, чаще и чаще перебегает мимо нас, наконец, отворяется дверь, и нас зовут пить чай.

Василий, в припадке излишнего усердия, беспрестанно вбегает в комнату, выносит то то, другое, подмигивает нам и всячески упрашивает Марию Ивановну выезжать ранее. Лошади заложены и выражают свое нетерпение, изредка побрякивая бубенчиками; чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и мы садимся по местам. Но каждый раз в бричке мы находим гору вместо сидения, так что никак не можем понять, как всё это было уложено накануне и как теперь мы будем сидеть; особенно один ореховый чайный ящик с треугольной крышкой, который отдают к нам в бричку и ставят под меня, приводит меня в сильнейшее негодование. Но Василий говорит, что это обомнется, и я принужден верить ему.

Солнце только-что поднялось над сплошным белым облаком, покрывающим восток, и вся окрестность озарилась спокойно-радостным светом. Всё так прекрасно вокруг меня, а на душе так легко и спокойно.... Дорога широкой, дикой лентой вьется впереди, между полями засохшего жнивья и блестящей росой зелени; кое-где при дороге попадается угрюмая ракета, или молодая березка с мелкими клейкими листьями, бросая длинную неподвижную тень на засохшие глинистые колеи и мелкую зеленую траву дороги.... Однообразный шум колес и бубенчиков не заглушает песен жаворонков, которые вьются около самой дороги. Запах съеденного молью сукна, пыли и какой-то кислоты, которым отличается наша бричка, покрывается запахом утра, и я чувствую в душе отрадное беспокойство, желание что-то сделать – признак истинного наслаждения.

Я не успел помолиться на постоялом дворе; но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я, по каким-нибудь обстоятельствам, забываю исполнить этот обряд, со мною случается какое-нибудь несчастье, я стараюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваясь в угол брички, читаю молитвы и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но тысячи различных предметов отвлекают мое внимание, и я несколько раз сряду в рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы.

Вот на пешеходной тропинке, вьющейся около дороги, виднеются какие-то медленно движущиеся фигуры: это богомолки. Головы их закутаны грязными платками, за спинами берестовые котомки, ноги обмотаны грязными, оборванными онучами и обуты в тяжелые лапти. Равномерно размахивая палками и едва оглядываясь на нас, они медленным тяжелым шагом подвигаются вперед одна за другою, и меня занимают вопросы: куда, зачем они идут? долго ли продолжится их путешествие, и скоро ли длинные тени, которые они бросают на дорогу, соединятся с тенью ракеты, мимо которой они должны пройти. Вот коляска, четверкой, на почтовых быстро несется навстречу. Две секунды, и лица, на расстоянии двух аршин приветливо, любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется, что эти лица не имеют со мной ничего общего, и что их никогда, может быть, не увидишь больше.

Вот стороной дороги бегут две потные, косматые лошади в хомутах с захлестнутыми за шлеи постромками, и сзади, свесив длинные ноги в больших сапогах по обеим сторонам лошади, у которой на холке висит дуга и изредка чуть слышно побрякивает колокольчиком, едет молодой парень ямщик и, сбив на одно ухо поярковую шляпу, тянет какую-то протяжную песню. Лицо и поза его выражают так много ленивого, беспечного довольства, что мне кажется, верх счастья быть ямщиком, ездить обратным и петь грустные песни. Вон далеко за оврагом виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленой крышей; вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами? Вот длинный обоз огромных возов, запряженных тройками сытых толстоногих лошадей, который мы принуждены объезжать стороною. «Что везете?» спрашивает Василий у первого извозчика, кото-

рый, спустив огромные ноги с грядок и помахивая кнутиком, долго пристально-бессмысленным взглядом следит за нами и отвечает что-то только тогда, когда его невозможно слышать. «С каким товаром?» обращается Василий к другому возу, на огороженном передке которого, под новой рогожей, лежит другой извозчик. Русая голова с красным лицом и рыжеватой бородкой на минуту высовывается из-под рогожи, равнодушно-презрительным взглядом окидывает нашу бричку и снова скрывается – и мне приходят мысли, что верно эти извозчики не знают, кто мы такие и откуда и куда едем?...

Часа полтора углубленный в разнообразные наблюдения, я не обращаю внимания на кривые цифры, выставленные на верстах. Но вот солнце начинает жарче печь мне голову и спину, дорога становится пылее, треугольная крышка чайницы начинает сильно беспокоить меня, я несколько раз переменяю положение: мне становится жарко, неловко и скучно. Всё мое внимание обращается на верстовые столбы и на цифры, выставленные на них; я делаю различные математические вычисления насчет времени, в которое мы можем приехать на станцию. «Двенадцать верст составляют треть тридцати шести, а до Липец сорок одна, следовательно мы проехали одну треть и сколько?» и т. д.

– Василий, – говорю я, когда замечаю, что он начинает *удить рыбу* на козлах – пусти меня на козлы, голубчик. – Василий соглашается. Мы переменяемся местами: он тотчас же начинает храпеть и разваливается так, что в бричке уже не остается больше ни для кого места; а передо мной открывается с высоты, которую я занимаю, самая приятная картина: наши четыре лошади, Неручинская, Дьячок, Левая коренная и Аптекарь, все изученные мною до малейших подробностей и оттенков свойств каждой.

– Отчего это нынче Дьячок на правой пристяжке, а не на левой, Филипп? – несколько робко спрашиваю я.

– Дьячок?

– А Неручинская ничего не везет, – говорю я.

– Дьячка нельзя налево впрягать, – говорит Филипп, не обращая внимания на мое последнее замечание: – не такая лошадь, чтоб его на левую пристяжку запрягать. Налево уж нужно такую лошадь, чтоб, одно слово, была лошадь, а это не такая лошадь.

И Филипп с этими словами нагибается на правую сторону и, подергивая вожжой из всех сил, принимается стегать бедного Дьячка по хвосту и по ногам, как-то особенным манером, снизу, и несмотря на то, что Дьячок старается из всех сил и воротит всю бричку, Филипп прекращает этот маневр только тогда, когда чувствует необходимость отдохнуть и сдвинуть неизвестно для чего свою шляпу на один бок, хотя она до этого очень хорошо и плотно сидела на его голове. Я пользуюсь такой счастливой минутой и прошу Филиппа дать мне *поправить*. Филипп дает мне сначала одну вожжу, потом другую; наконец все шесть вожжей и кнут переходят в мои руки, и я совершенно счастлив. Я стараюсь всячески подражать Филиппу, спрашиваю у него, хорошо ли? но обыкновенно кончается тем, что он остается мною недоволен: говорит, что та много везет, а та ничего не везет, высовывает локоть из-за моей груди и отнимает у меня вожжи. Жар всё усиливается, барашки начинают вздуваться, как мыльные пузыри, выше и выше, сходиться и принимать темно-серые тени. В окно кареты высовывается рука с бутылкой и узелком; Василий, с удивительной ловкостью, на ходу соскакивает с козел и приносит нам ватрушек и квасу.

На крутом спуске мы все выходим из экипажей и иногда в перегонки бежим до моста, между тем как Василий и Яков, подтормозив колеса, с обеих сторон руками поддерживают карету, как будто они в состоянии удержать ее, ежели бы она упала. Потом, с позволения Мими, я или Володя отправляемся в карету, а Любочка или Катенька садятся в бричку. Перемещения эти доставляют большое удовольствие девочкам, потому что они справедливо находят, что в бричке гораздо веселей. Иногда во время жара, проезжая через рощу, мы отстаем от кареты, нарываем зеленых веток и устраиваем в бричке беседку. Движущаяся беседка во весь дух дого-

няет карету, и Любочка пищит при этом самым пронзительным голосом, чего она никогда не забывает делать, при каждом случае, доставляющем ей большое удовольствие.

Но вот и деревня, в которой мы будем обедать и отдыхать. Вот уж запахло деревней – дымом, дегтем, баранками, слышались звуки говора, шагов и колес; бубенчики уже звенят не так, как в чистом поле, и с обеих сторон мелькают избы, с соломенными кровлями, резными тесовыми крылечками и маленькими окнами с красными и зелеными ставнями, в которые кое-где просовывается лицо любопытной бабы. Вот крестьянские мальчики и девочки в одних рубашонках: широко раскрыв глаза и растопырив руки, неподвижно стоят они на одном месте или, быстро семеня в пыли босыми ножонками, несмотря на угрожающие жесты Филиппа, бегут за экипажами и стараются взобраться на чемоданы, привязанные сзади. Вот и рыжеватые дворники с обеих сторон подбегают к экипажам и привлекательными словами и жестами один перед другим стараются заманить проезжающих. Тпру! ворота скрипят, вальки цепляют за воротаща, и мы въезжаем на двор. Четыре часа отдыха и свободы!

## ГЛАВА II. ГРОЗА.

Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки; невозможно было дотронуться до раскаленных краев брички; густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Не было ни малейшего ветерка, который бы относил ее. Впереди нас, на одинаковом расстоянии, мерно покачивался высокий, запыленный кузов кареты с важами, из-за которого виднелся изредка кнут, которым помахивал кучер, его шляпа и фуражка Якова. Я не знал, куда деваться: ни черное от пыли лицо Володи, дремавшего подле меня, ни движения спины Филиппа, ни длинная тень нашей брички, под косым углом бежавшая за нами, не доставляли мне развлечения. Всё мое внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издалика, и на облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие, черные тени, теперь собирались в одну большую, мрачную тучу. Изредка погромыхивал дальний гром. Это последнее обстоятельство более всего усиливало мое нетерпение скорее приехать на постоянный двор. Гроза наводила на меня невыразимо тяжелое чувство тоски и страха.

До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся Бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка, вдалеке, вспыхивает молния, и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади настороживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь всё выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! как много поэзии в этой простонародной мысли!

Колеса вертятся скорее и скорее; по спинам Василия и Филиппа, который нетерпеливо помахивает вожжами, я замечаю, что и они боятся. Бричка шибко катится под гору и стучит по досчатому мосту; я боюсь пошевелиться и с минуты на минуту ожидаю нашей общей гибели.

Тпру! оторвался валец, и на мосту, несмотря на непрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться.

Прислонив голову к краю брички, я, с захватывающим дыханием замиранием сердца, безнадежно слежу за движениями толстых черных пальцев Филиппа, который медлительно захлестывает петлю и выравнивает построшки, толкая пристяжную ладонью и кнутовищем.

Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. В это самое время из-под моста вдруг появляется, в одной грязной дырявой рубахе, какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом, качающейся, ничем не покрытой, обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной, глянцевиной кульпяжкой, вместо руки, которую он сует прямо в бричку.

«Ба-а-шка! убо-го-му Хри-ста-ради», звучит болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс.

Не могу выразить чувства холодного ужаса, охватившего мою душу в эту минуту. Дрожь пробегала по моим волосам, а глаза с бессмыслием страха были устремлены на нищего...

Василий, в дороге подающий милостыню, дает наставления Филиппу насчет укрепления валька и, только когда всё уже готово, и Филипп, собирая вожжи, лезет на козлы, начинает что-то доставать из бокового кармана. Но только-что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что кажется, весь свод небес рушится над нами. Ветер еще усиливается: гривы и хвосты лошадей, шинель Василья и края фартука принимают одно направление и отчаянно развеваются от порывов неистового ветра. На кожаный верх брички тяжело упала крупная капля дождя... другая, третья, четвертая, и вдруг как будто кто-то забарабанил над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя. По движениям локтей Василья, я замечаю, что он развязывает кошелек; нищий, продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колес, так что, того и гляди, раздавят его. «Поддай Хри-ста-ради». Наконец, медный грош летит мимо нас, и жалкое создание, в обтянутом его худые члены, промокшем до нитки рубище, качаясь от ветра, – в недоумении останавливается посреди дороги и исчезает из моих глаз.

Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил, как из ведра; с фризовой спины Василья текли потоки в лужу мутной воды, образовавшуюся на фартуке. Сначала сбитая катушками пыль превратилась в жидкую грязь, которую месили колеса, толчки стали меньше, и по глинистым колеям потекли мутные ручьи. Молния светила шире и бледнее, и раскаты грома уже были не так поразительны за равномерным шумом дождя.

Но вот дождь становится мельче; туча начинает разделяться на волнистые облака, светлеть в том месте, в котором должно быть солнце, и сквозь серовато-белые края тучи чуть виднеется клочек ясной лазури. Через минуту робкий луч солнца уже блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как сквозь сито, мелкого, прямого дождя и на обмытой, блестящей зелени дорожной травы. Черная туча также грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже не боюсь ее. Я испытываю невыразимо-отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжелое чувство страха. Душа моя улыбается так же, как и освеженная, повеселевшая природа. Василий откидывает воротник шинели, снимает фуражку и отряхивает ее; Володя откидывает фартук; я высовываюсь из брички и жадно впиваю в себя освеженный, душистый воздух. Блестящий, обмытый кузов кареты с важами и чемоданами покачивается перед нами, спины лошадей, шлеи, вожжи, шины колес – всё мокро и блестит на солнце, как покрытое лаком. С одной стороны дороги – необозримое озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками, блестит мокрой землею и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны – осиновая роща, поросшая ореховым и черемушным подседом, как бы в избытке счастья стоит, не шелохнется и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. Со всех сторон вьются с веселой песней и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса, после весенней грозы, запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков, чере-

мухи, что я не могу усидеть в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. Не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим липнут огромные комки грязи, и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты.

– Любочка! Катенька! – кричу я, подавая туда несколько веток черемухи: – посмотри, как хорошо!

Девочки пищат, ахают; Мими кричит, чтобы я ушел, а то меня непременно раздавят.

– Да ты понюхай, как пахнет! – кричу я.

## ГЛАВА III. НОВЫЙ ВЗГЛЯД.

Катенька сидела подле меня в бричке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегающей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому не детски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике.

– А вот скоро мы и приедем в Москву, – сказал я: – как ты думаешь, какая она?

– Не знаю, – отвечала она нехотя.

– Ну всё-таки как ты думаешь: больше Серпухова или нет?...

– Что?

– Я ничего.

Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого, и которое служит путеводною нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее равнодушие; она подняла голову и обратилась ко мне:

– Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки?

– Говорил; бабушка хочет совсем с нами жить.

– И все будем жить?

– Разумеется; мы будем жить наверху в одной половине; вы в другой половине; а папа во флигеле; а обедать будем все вместе, внизу у бабушки.

– Мамап говорит, что бабушка такая важная – сердитая?

– Не-ет! Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая; напротив, очень добрая, веселая. Коли бы ты видела, какой бал был в ее именины!

– Всё-таки я боюсь ее; да, впрочем, Бог знает, будем ли мы...

Катенька вдруг замолчала и опять задумалась.

– Что-о? – спросил я с беспокойством.

– Ничего, я так.

– Нет, ты что-то сказала: «Бог знает...»

– Так ты говорил, какой был бал у бабушки.

– Да вот жалко, что вас не было; гостей было пропасть, человек тысяча, музыка, генералы, и я танцевал.... Катенька! – сказал я вдруг, останавливаясь в середине своего описания: – ты не слушаешь?

– Нет, слышу; ты говорил, что ты танцевал.

– Отчего ты такая скучная?

– Не всегда же веселой быть.

– Нет, ты очень переменилась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи, по правде, – прибавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней: – отчего ты стала какая-то странная?

– Будто я странная? – отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что мое замечание интересовало ее: – я совсем не странная.

– Нет, ты уж не такая, как прежде, – продолжал я: – прежде видно было, что ты во всем с нами за одно, что ты нас считаешь как родными и любишь так же, как и мы тебя, а теперь ты стала такая серьезная, удаляешься от нас...

– Совсем нет....

– Нет, дай мне договорить, – перебил я, уже начиная ощущать легкое щекотанье в носу, предшествующее слезам, которые всегда наворачивались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную задушевную мысль: – ты удаляешься от нас, разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать.

– Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми; надобно когда-нибудь и перемениться, – отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять всё какую-то фаталистическою необходимостью, когда не знала, что говорить.

Я помню, что раз, поссорившись с Любочкой, которая назвала ее *глупой девочкой*, она отвечала: не всем же умным быть, надо и глупым быть; но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь, и я продолжал допрашивать:

– Для чего же это надо?

– Ведь не всегда же мы будем жить вместе, – отвечала Катенька, слегка краснея и пристально вглядываясь в спину Филиппа. – Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ее другом; а с графиней, которая, говорят, такая сердитая, еще, Бог знает, сойдутся ли они? Кроме того, всё-таки когда-нибудь да мы разойдемся: вы богаты – у вас есть Петровское, а мы бедные – у маменьки ничего нет.

Вы богаты – мы бедны: эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. Бедными по моим тогдашним понятиям могли быть только нищие и мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька, ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить всё поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых, неясных мыслей, касательно одинокого положения их, зароилось в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку.

«Что ж такое, что мы богаты, а они бедны? – думал я, – и каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт, в противность этим логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права, и что неуместно бы было объяснять ей свою мысль.

– Неужели точно ты уедешь от нас? – сказал я: – как же это мы будем жить врозь?

– Что же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю, что я сделаю...

– В актрисы пойдешь.... вот глупости! – подхватил я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее.

– Нет, это я говорила, когда была маленькой...

– Так что же ты сделаешь?

– Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке.

Катенька заплакала.

Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз, во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, т. е. наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал всё это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал.

Мысль переходит в убеждение только одним известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали

из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостоивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? и из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т. д.

## ГЛАВА IV. В МОСКВЕ.

С приездом в Москву перемена моего взгляда на предметы, лица и свое отношение к ним стала еще ошутительнее.

При первом свидании с бабушкой, когда я увидел ее худое морщинистое лицо и потухшие глаза, чувство подобострастного уважения и страха, которые я к ней испытывал, заменились состраданием; а когда она, припав лицом к голове Любочки, зарыдала так, как будто перед ее глазами был труп ее любимой дочери, даже чувством любви заменилось во мне сострадание. Мне было неловко видеть ее печаль при свидании с нами; я сознавал, что мы сами по себе ничто в ее глазах, что мы ей дороги только как воспоминание, я чувствовал, что в каждом поцелуе, которыми она покрывала мои щеки, выражалась одна мысль: ее нет, она умерла, я не увижу ее больше!

Папа, который в Москве почти совсем не занимался нами, и с вечно озабоченным лицом только к обеду приходил к нам, в черном сюртуке или фраке, – вместе с своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом, старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иваныч, которого бабушка называла *дядькой*, и который вдруг, Бог знает зачем, вздумал заменить свою почтенную, знакомую мне лысину рыжим париком с нитяным пробором почти по середине головы, показался мне так странен и смешон, что я удивлялся, как мог я прежде не замечать этого.

Между девочками и нами тоже появилась какая-то невидимая преграда; у них и у нас были уж свои секреты; как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами со штрипками. Мими же в первое воскресенье вышла к обеду в таком пышном платье и с такими лентами на голове, что уж сейчас видно было, что мы не в деревне, и теперь всё пойдет иначе.

## ГЛАВА V. СТАРШИЙ БРАТ.

Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего; но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже казалось, что Володя сам сознает свое первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть, и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее при каждом столкновении с ним. Он во всем стоял выше меня: в забавах, в учении, в ссорах, в умении держать себя, и всё это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче и не казалось бы всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался скрывать это.

Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности когда люди эти не во всем откровенны между собой. Сколько не досказанных желаний, мыслей и страха – быть понятым – выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!

Но может быть меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу; может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнородными предметами, он предавался им всей душой.

То вдруг на него находила страсть к картинкам: он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папа, у бабушки; то страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому, то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам... Я невольно увлекался его страстями; но был слишком горд, чтобы идти по его следам, и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благороднооткровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему.

Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик.

– Кто тебя просил трогать мои вещи? – сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною в симметрии разнообразных украшений его столика: – а где флакончик? непременно ты...

– Нечаянно уронил; он и разбился, что ж за беда? – Сделай милость, никогда *не смей* прикасаться к моим вещам, – сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них.

– Пожалуйста *не командуй*, – отвечал я. – Разбил, так разбил; что ж тут говорить!

И я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться.

– Да, тебе ничего, а мне *чего*, – продолжал Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папа: – разбил, да еще и смеется, этакой несносный *мальчишка*!

– Я мальчишка; а ты большой да глупый.

– Не намерен с тобой браниться, – сказал Володя, слегка отталкивая меня: – убирайся.

– Не толкайся!

– Убирайся!

– Я тебе говорю, не толкайся!

Володя взял меня за руку и хотел оттащить от стола; но я уже был раздражен до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!», и все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол.

– Отвратительный мальчишка!... – закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.

«Ну теперь всё кончено между нами, – думал я, выходя из комнаты: – мы на век поссорились».

До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда после обеда разговаривал и смеялся с девочками.

Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно, неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего класса истории, я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной, добродушно-насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня, и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

– Николенька! – сказал он мне самым простым, нисколько не патетическим голосом: – полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто, поднимаясь всё выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче.

– Прости... ме...ня, Вол...дя! – сказал я, пожимая его руку.

Володя смотрел на меня однако так, как будто никак не понимал, отчего у меня слезы на глазах....

## ГЛАВА VI. МАША.

Но ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть *женщину*, от которой могли зависеть, в некоторой степени, мое спокойствие и счастье.

С тех пор, как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, переменявшего совершенно мой взгляд на нее, и про который я расскажу сейчас – я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша; но я боюсь описывать ее, боюсь, чтобы воображение снова не представило мне обворожительный и обманчивый образ, составившийся в нем во время моей страсти. Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина; а мне было четырнадцать лет.

В одну из тех минут, когда, с уроком в руке, занимаешься прогулкой по комнате, стараясь ступать только по одним щелям половиц, или пением какого-нибудь несообразного мотива, или размазыванием чернил по краю стола, или повторением без всякой мысли какого-нибудь изречения – одним словом, в одну из тех минут, когда ум отказывается от работы, и воображение, взяв верх, ищет впечатлений, я вышел из классной и без всякой цели спустился к площадке.

Кто-то в башмаках шел вверх по другому повороту лестницы. Разумеется мне захотелось знать, кто это, но вдруг шум шагов замолк, и я услышал голос Маши: «ну вас, что вы балуетесь, а как Мария Ивановна придет – разве хорошо будет?»

«Не придет», – шопотом сказал голос Володи, и вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать ее.

«Ну, куда руки суετε? Бесстыдник!», и Маша, с сдернутой на бок косынкой, из-под которой виднелась белая, полная шея, пробежала мимо меня.

Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытие, однако чувство изумления скоро уступило место сочувствия поступку Володи: меня уже не удивлял самый его поступок, но то, каким образом он постиг, что приятно так поступать. И мне невольно захотелось подражать ему.

Я по целым часам проводил иногда на площадке, без всякой мысли, с напряженным вниманием, прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху; но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверь, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову: каково бы было мое положение, ежели бы я пришел наверх и так же, как Володя, захотел бы поцеловать Машу? что бы я сказал с своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «вот наказание! что же вы в самом деле пристали ко мне, идите отсюда, шалун этакой... отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится...» Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницею и всё на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи.

Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости. А я убежден, что ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее.

Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, т. е. старался презирать все удовольствия, достав-

ляемые приятной наружностью, которыми на моих глазах пользовался Володя, и которым я от души завидовал, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждения в гордом одиночестве.

## ГЛАВА VII. ДРОБЬ.

– Боже мой, порох!... – воскликнула Мими задыхающимся от волнения голосом. – Что вы делаете? Вы хотите сжечь дом, погубить всех нас....

И с неопианным выражением твердости духа, Мими приказала всем посторониться, большими, решительными шагами подошла к рассыпанной дробу и, презирая опасность, могущую произойти от неожиданного взрыва, начала топтать ее ногами. Когда по ее мнению опасность уже миновалась, она позвала Михея и приказала ему выбросить весь этот *порох* куда-нибудь подальше или, всего лучше, в воду, и, гордо встряхивая чепцом, направилась к гостиной. «Очень хорошо за ними смотрят, нечего сказать», – проворчала она.

Когда папа пришел из флигеля, и мы вместе с ним пошли к бабушке, в комнате ее уже сидела Мими около окна и с каким-то таинственно-официальным выражением грозно смотрела мимо двери. В руке ее находилось что-то завернутое в несколько бумажек. Я догадался, что это была дробь, и что бабушке уже всё известно.

Кроме Мими, в комнате бабушки находились еще горничная Гаша, которая, как заметно было по ее гневному, покрасневшемуся лицу, была сильно расстроена, и доктор Блюменталь, маленький, рябоватый человек, который тщетно старался успокоить Гашу, делая ей глазами и головой таинственные, миротворные знаки.

Сама бабушка сидела несколько боком и раскладывала пасьянс – *Путешественник*, что всегда означало весьма неблагоприятное расположение духа.

– Как себя чувствуете нынче, татап? хорошо ли почивали? – сказал папа, почтительно цалуя ее руку.

– Прекрасно, мой милый; кажется знаете, что я всегда совершенно здорова, – отвечала бабушка таким тоном, как будто вопрос папа был самый неуместный и оскорбительный вопрос. – Что ж, хотите вы мне дать чистый платок? – продолжала она, обращаясь к Гаше.

– Я вам подала, – отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел.

– Возьмите эту грязную ветошку и дайте мне чистый, моя милая.

Гаша подошла к шифоньерке, выдвинула ящик и так сильно хлопнула им, что стекла задрожали в комнате. Бабушка грозно оглянулась на всех нас и продолжала пристально следить за всеми движениями горничной. Когда она подала ей, как мне показалось, тот же самый платок, бабушка сказала:

– Когда же вы мне натрете табак, моя милая?

– Время будет, так натру.

– Что вы говорите?

– Натру нынче.

– Ежели вы не хотите мне служить, моя милая, вы бы так и сказали: я бы давно вас отпустила.

– И отпустите, не заплачут, – проворчала вполголоса горничная.

В это время доктор начал было мигать ей; но она так гневно и решительно посмотрела на него, что он тотчас же потушился и занялся ключиком своих часов.

– Видите, мой милый, – сказала бабушка, обращаясь к папа, когда Гаша, продолжая ворчать, вышла из комнаты: – как со мной говорят в моем доме?

– Позвольте, татап, я сам натру вам табак, – сказал папа, приведенный, повидимому, в большое затруднение этим неожиданным обращением.

– Нет уж, благодарю вас: она ведь оттого так и груба, что знает, никто, кроме нее, не умеет стереть табак, как я люблю Вы знаете, мой милый, – продолжала бабушка, после минутного молчания: – что ваши дети нынче чуть было дом не сожгли?

Папа с почтительным любопытством смотрел на бабушку.

– Да, они вот чем играют. Покажите им, – сказала она, обращаясь к Мими.

Папа взял в руки дробь и не мог не улыбнуться.

– Да это дробь, тапан, – сказал он: – это совсем не опасно.

– Очень вам благодарна, мой милый, что вы меня учите, только уж я стара слишком....

– Нервы, нервы! – прошептал доктор.

И папа тотчас обратился к нам:

– Где вы это взяли? и как смеете шалить такими вещами?

– Нечего их спрашивать, а надо спросить их *дядьку*, – сказала бабушка, особенно презрительно выговаривая слово *дядька*: – что он смотрит?

– Вольдемар сказал, что сам Карл Иваныч дал ему этот *порох*, – подхватила Мими.

– Ну вот видите, какой он хороший, – продолжала бабушка: – и где он, этот *дядька*, как бишь его? пошлите его сюда.

– Я его отпустил в гости, – сказал папа.

– Это не резон; он всегда должен быть здесь. Дети не мои, а ваши, и я не имею права советовать вам, потому что вы умнее меня, – продолжала бабушка: – но кажется, пора бы для них нанять гувернера, а не *дядьку*, немецкого мужика. Да, глупого мужика, который их ничему научить не может, кроме дурным манерам и тирольским песням. Очень нужно, я вас спрашиваю, детям уметь петь тирольские песни. Впрочем, *теперь* некому об этом подумать, и вы можете делать, как хотите.

Слово «теперь» значило: когда у них нет матери, и вызвало грустные воспоминания в сердце бабушки – она опустила глаза на табакерку с портретом и задумалась.

– Я давно уже думал об этом, – поспешил сказать папа: – и хотел посоветоваться с вами, тапан: не пригласить ли нам St.-Jérôme, который теперь по билетам дает им уроки?

– И прекрасно сделаешь, мой друг, – сказала бабушка уже не тем недовольным голосом, которым говорила прежде: – St.-Jérôme по крайней мере *gouverneur*, который поймет, как нужно вести *des enfants de bonne maison*,<sup>1</sup> а не простой *menin*, *дядька*, который годен только на то, чтобы водить их гулять.

– Я завтра же поговорю с ним, – сказал папа.

И действительно, через два дня после этого разговора, Карл Иваныч уступил свое место молодому шеголю французу.

---

<sup>1</sup> [детей из хорошей семьи.]

## ГЛАВА VIII. ИСТОРИЯ КАРЛА ИВАНЫЧА.

Поздно вечером накануне того дня, в который Карл Иваныч должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи.

Обращение с нами Карла Иваныча в последнее время было как-то особенно сухо: он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня исподлобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иваныч, прежде строго запрещающий делать это, ничего не сказал мне, и мысль, что он больше не будет ни бранить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство.

– Позвольте, я помогу вам, Карл Иваныч, – сказал я, подходя к нему.

Карл Иваныч взглянул на меня и снова отвернулся, но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел не равнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю, сосредоточенную печаль.

– Бог всё видит и всё знает, и на всё Его святая воля, – сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая. – Да, Николенька, – продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него: – моя судьба быть несчастливим с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда, – сказал он, указывая на небо. – Когда б вы знали мою историю и всё, что я перенес в этой жизни!... Я был сапожник, я был солдат, я был *дезертир*, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль! и мне, как сыну Божию, некуда преклонить свою голову, – заключил он, и, закрыв глаза, опустил в свое кресло.

Заметив, что Карл Иваныч находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать.

– Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и всё, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети!...

Карл Иваныч облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу, тем особенным, мерным, горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование:

– *Я был несчастлив ишо во чрева моей матрри. Das Unglück verfolgte mich schon im Schosse meiner Mutter!* – повторил он еще с большим чувством.

Так как Карл Иваныч не один раз, в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и с постоянно-неизменяемыми интонациями, рассказывал мне впоследствии свою историю, я надеюсь передать ее почти слово в слово; разумеется, исключая неправильности языка, о которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история, или произведение фантазии, родившееся во время его одинокой жизни в нашем доме, которому он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими фактами действительные события своей жизни – не решил еще я до сих пор. С одной стороны, он с слишком живым чувством и методическою последовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно было не верить ей; с другой стороны, слишком много было поэтических красот в его истории; так что именно красоты эти вызывали сомнения.

«В жилах моих течет благородная кровь графов фон Зомерблат! In meinen Adern fließt das edle Blut des Grafen von Sommerblat! Я родился шесть недель после свадьбы. Муж моей

матери (я звал его папенька) был арендатор у графа Зомерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Johann и две сестры; но я был чужой в своем собственном семействе! Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie! Когда Johann делал глупости, папенька говорил: «с этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя!», меня бранили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил: «Карл никогда не будет послушный мальчик!», меня бранили и наказывали. Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: «Карл! подите сюда в мою комнату», и она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл! – сказала она, – никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька – говорила она мне: – учись хорошенько и будь всегда честным человеком, Бог не оставит тебя! Trachte nur ein ehrlicher Deutscher zu werden – sagte sie – und der liebe Gott wird dich nicht verlassen!» И я старался. Когда мне минуло четырнадцать лет, и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, Густав; что мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «я не знаю». Тогда маменька сказала: «отдадим его в город к г. Шульц, пускай он будет сапожник!», и папенька сказал «хорошо», und mein Vater sagte «gut». Шесть лет и семь месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: «Карл хороший работник, и скоро он будет моим Geselle!»,<sup>2</sup> но... человек предполагает, а Бог располагает... в 1796 году была назначена Conscription,<sup>3</sup> и все, кто мог служить, от восемнадцати до двадцать первого года должны были собраться в город.

«Папенька и брат Johann приехали в город, и мы вместе пошли бросить Loos,<sup>4</sup> кому быть Soldat и кому не быть Soldat. Johann вытащил дурной номеро – он должен быть Soldat, я вытащил хороший номеро – я не должен быть Soldat. И папенька сказал: «у меня был один сын, и с тем я должен расстаться! Ich hatte einen einzigen Sohn und von diesem muss ich mich trennen!»

«Я взял его за руку и сказал: «зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь». И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за маленький столик. «Дайте нам пару Bierkrug»,<sup>5</sup> – я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Johann тоже выпил.

« – Папенька! – я сказал: – не говорите так, что «у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться», у меня сердце хочет *выпрыгнуть*, когда я *этого* слышу. Брат Johann не будет служить – я буду Soldat!.. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет Soldat.

« – Вы честный человек, Карл Иваныч! – сказал мне папенька и поцеловал меня. – Du bist ein braver Bursche! – sagte mir mein Vater und küsste mich.

«И я был Soldat!»

---

<sup>2</sup> [подмастерьем!]

<sup>3</sup> [рекрутский набор,]

<sup>4</sup> [ жребий,]

<sup>5</sup> [кружек пива,]

## ГЛАВА IX. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ.

«Тогда было страшное время, Николенька, – продолжал Карл Иваныч, – тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови! und wir vertheidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut!

«Я был под Ульм, я был под Аустерлиц! я был под Ваграм! ich war bei Wagram!»

– Неужели вы тоже воевали? – спросил я, с удивлением глядя на него. – Неужели вы тоже убивали людей?

Карл Иваныч тотчас же успокоил меня на этот счет.

«Один раз французский Grenadir отстал от своих и упал на дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und rief pardon,<sup>6</sup> и я пустил его!

«Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасенья. Трое суток у нас не было провианта, и мы стояли в воде по коленки. Злодей Наполеон не брал и не пускал нас! und der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und auch nicht freilassen!

«На четвертые сутки нас, слава Богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, пятнадцать талеров денег и серебряные часы – подарок моего папеньки. Французский Soldat всё взял у меня. На мое счастье у меня было три червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел!

«В крепости я не хотел долго оставаться и решил бежать. Один раз, в большой праздник, я сказал сержанту, который смотрел за нами: «Г. сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите пожалуйста две бутылочки мадер, и мы вместе выпьем ее». И сержант сказал: «хорошо». Когда сержант принес мадер, и мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал: «Г. сержант, может быть у вас есть отец и мать?..» Он сказал: «есть, г. Мауер...» – «Мой отец и мать – я сказал – восемь лет не видали меня и не знают, жив ли я, или кости мои давно лежат в сырой земле. О, г. сержант! у меня есть два червонца, которые были под моей фуфайкой, возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и моя маменька всю жизнь будет молить за вас всемогущего Бога».

«Сержант выпил рюмочку мадеры и сказал: «Г. Мауер, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я Soldat!» Я пожал его за руку и сказал: «г. сержант!» ich drückte ihm die Hand und sagte: «Herr Sergeant!»

«И сержант сказал: «Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас».

«Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда Soldat были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихонько вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть, но там была вода, и я не хотел спортить последнее платье: я пошел в ворота.

«Часовой ходил с ружьем auf und ab<sup>7</sup> и смотрел на меня. «Qui vive?» sagte er auf einmal,<sup>8</sup> и я молчал. «Qui vive?» sagte er zum zweiten Mal, и я молчал. «Qui vive?» sagte er zum dritten Mal, и я бежал. Я прыгнул в вода, влезал на другой сторона и пустил. Ich sprang in's Wasser, kletterte auf die andere Seite und machte mich aus dem Staube.

«Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я стал на коленки, сложил руки, поблагодарил Отца Небесного

<sup>6</sup> [но француз бросил свое ружье и запросил пардону,]

<sup>7</sup> [взад и вперед]

<sup>8</sup> [Кто идет? – спросил он вдруг,]

за свое спасение и с покойным чувством заснул. Ich dankte dem Allmächtigen Gott für Seine Barmherzigkeit und mit beruhigtem Gefühl schlief ich ein.

«Я проснулся вечером и пошел дальше. Вдруг большая немецкая фура в две вороные лошади догнала меня. В фуре сидел хорошо одетый человек, курил трубочку и смотрел на меня. Я пошел потихоньку, чтобы фура обогнала меня, но я шел потихоньку, и фура ехала потихоньку, и человек смотрел на меня; я шел поскорее, и фура ехала поскорее, и человек смотрел на меня. Я сел на дороге; человек остановил своих лошадей и смотрел на меня. «Молодой человек – он сказал – куда вы идете так поздно?» Я сказал: «я иду в Франкфурт». – «Садитесь в мою фуру, место есть, и я доведу вас.... Отчего у вас ничего нет с собой, борода ваша не брита, и платье ваше в грязи?» – сказал он мне, когда я сел с ним. «Я бедный человек – я сказал – хочу наняться где-нибудь на *фабрик*; а платье мое в грязи оттого, что я упал на дороге». – «Вы говорите неправду, молодой человек, – сказал он, – по дороге теперь сухо».

«И я молчал.

«– Скажите мне всю правду, – сказал мне добрый человек: – кто вы и откуда идете? лицо ваше мне понравилось, и ежели вы честный человек, я помогу вам.

«И я всё сказал ему. Он сказал: «хорошо, молодой человек, поедemте на мою канатную фабрику. Я дам вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня».

«И я сказал: «хорошо».

«Мы приехали на канатную фабрику, и добрый человек сказал своей жене: «вот молодой человек, который сражался за свое отечество и бежал из плена; у него нет ни дома, ни платья, ни хлеба. Он будет жить у меня. Дайте ему чистое белье и покормите его».

«Я полтора года жил на канатной фабрике, и мой хозяин так полюбил меня, что не хотел пустить. И мне было хорошо. Я был тогда красивый мужчина, я был молодой, высокий рост, голубые глаза, римский нос.... и Madame L.... (я не могу сказать ее имени), жена моего хозяина, была молоденькая, хорошенькая дама. И она полюбила меня.

«Когда она *видела* меня, она *сказала*: «Г. Мауер, как вас зовет ваша маменька?» Я сказал: «Karlchen».

«И она сказала: «Karlchen! сядьте подле меня».

«Я сел подле ней, и она сказала: «Karlchen! поцалуйте меня».

«Я *его* поцаловал, и он сказал: «Karlchen! я так люблю вас, что не могу больше терпеть», и он весь задрожал».

Тут Карл Иваныч сделал продолжительную паузу и, закатив свои добрые голубые глаза, слегка покачивая головой, принялся улыбаться так, как улыбаются люди под влиянием приятных воспоминаний.

«Да, – начал он опять, поправляясь в кресле и запахивая свой халат, – много я испытал и хорошего и дурного в своей жизни; но вот мой свидетель, – сказал он, указывая на шитый по канве образок Спасителя, висевший над его кроватью, – никто не может сказать, чтоб Карл Иваныч был нечестный человек! Я не хотел черной неблагодарностью платить за добро, которое мне сделал г. L..., и решился бежать от него. Вечерком, когда все шли спать, я написал письмо своему хозяину и положил его на столе в своей комнате, взял свое платье, три талер денег и потихоньку вышел на улицу. Никто не видал меня, и я пошел по дороге».

## ГЛАВА X. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

«Я девять лет не видал своей маменьки и не знал, жива ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауер, который был арендатором у графа Зомерблат? И мне сказали: «граф Зомерблат умер, и Густав Мауер живет теперь в большой улице и держит лавку *ликер*». Я надел свой новый жилет, хороший сюртук – подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Mariechen сидела в лавочке и спросила, что мне нужно? Я сказал: «можно выпить рюмочку ликер?», и она сказала: «Vater! молодой человек просит рюмочку ликер». И папенька сказал: «подай молодому человеку рюмочку ликер». Я сел подле столика, пил свою рюмочку ликер, курил трубочку и смотрел на папеньку, Mariechen и Johann, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал мне: «вы верно знаете, молодой человек, где стоит теперь наше *арме*». Я сказал: «я сам иду из *арме*, и она стоит подле Wien». – «Наш сын, – сказал папенька, – был Soldat, и вот девять лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Моя жена всегда плачет об нем...» Я курил свою трубочку и сказал: «как звали вашего сына, и где он служил? может быть я знаю его...» – «Его звали Карл Мауер, и он служил в Австрийских егерях», сказал мой папенька. «Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы», сказала сестра Mariechen. Я сказал: «я знаю вашего Karl». – Amalia! – sagte auf einmal mein Vater<sup>9</sup> – подите сюда, здесь есть молодой человек, он знает нашего Karl». *И мое милы маменька выходит из задня дверью. Я сейчас узнал его. «Вы знаете наша Karl», он сказал, посмотрил на мене и весь бледны за... дро...жал!... «Да, я видел его», я сказал, и не смел поднять глаза на нее; сердце у меня пригнуть хотело. «Karl мой жив! – сказала маменька, – слава Богу. Где он, мой милый Karl? Я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына; но Бог не хочет этого», и он заплакал... Я не мог терпеть... Маменька! – я сказал, – я ваш Karl! И он упал мне на рука...»*

Карл Иваныч закрыл глаза, и губы его задрожали.

«Mutter! – sagte ich, – ich bin ihr Sohn, ich bin ihr Karl! und sie stürzte mir in die Arme»,<sup>10</sup> повторил он, успокоившись немного и утирая крупные слезы, катившиеся по его щекам.

«Но Богу не угодно было, чтобы я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастье! das Unglück verfolgte mich überall!...<sup>11</sup> Я жил на своей родине только три месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал с своими знакомыми про Politik, про император Франц, про Napoleon, про войну, и каждый говорил свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером Ueberrock,<sup>12</sup> пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. Er rauchte sein Pfeifchen und schwieg still. Когда Nachtwächter<sup>13</sup> прокричал десять часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал: «кто там?» «Macht auf!»<sup>14</sup> Я сказал: «скажите, кто там, и я отворю». Ich sagte: «sagt, wer ihr seid, und ich werde aufmachen». «Macht auf im Namen des Gesetzes!»<sup>15</sup> сказал за дверью. И я отворил. Два Soldat с ружьями

<sup>9</sup> [сказал вдруг мой отец]

<sup>10</sup> [«Маменька! – сказал я, – я ваш сын, ваш Karl!» и она бросилась в мои объятия.]

<sup>11</sup> [несчастье повсюду меня преследовало!]

<sup>12</sup> [сюртуке.]

<sup>13</sup> [ночной сторож]

<sup>14</sup> [Отворите!]

<sup>15</sup> [Отворите именем закона!]

стояли за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером Ueberrock,<sup>16</sup> который сидел подле нас в кофейном доме. Он был шпион! Es war ein Spion!... «Пойдемте со мной!» сказал шпион. «Хорошо», я сказал... Я надел сапоги und Pantalon, надевал подтяжки и ходил по комнате. В сердце у меня кипело: я сказал – он подлец! Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал: «*ты шпион; защищайся! du bist ein Spion, vertheidige dich!*» Ich gab ein Hieb<sup>17</sup> направо, ein Hieb налево и один на галава. *Шпион упал!* Я схватил чемодан и деньги и прыгнул за окошко. Ich nahm meinen Mantelsack und Beutel und sprang zum Fenster hinaus. Ich kam nach Ems,<sup>18</sup> там я познакомился с *енерал Сазин*. Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда *енерал Сазин* умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала: «Карл Иваныч! отдаю вам своих детей, любите их, и я никогда не оставлю вас, я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и всё забыто. За свою двадцатилетнюю службу я должен теперь на старости лет итти на улицу искать свой черствый кусок хлеба... *Бог сей видит и сей знает и на сей Его святое воля, только вас жалько мне, дети!*» заключил Карл Иваныч, притягивая меня к себе за руку и цалуя в голову.

---

<sup>16</sup> [сюртуке.]

<sup>17</sup> [Я нанес один удар]

<sup>18</sup> [Я пришел в Эмс]

## ГЛАВА XI. ЕДИНИЦА.

По окончании годовичного траура, бабушка оправилась несколько от печали, поразившей ее, и стала изредка принимать гостей, в особенности детей – наших сверстников и сверстниц.

В день рождения Любочки, 13 декабря, еще перед обедом приехали к нам княгиня Корнакова с дочерьми, Валахина с Сонечкой, Иленька Грап и два меньших брата Ивиных.

Уже звуки говора, смеху и беготни долетали к нам снизу, где собралось всё это общество, но мы не могли присоединиться к нему прежде окончания утренних классов. На таблице, висевшей в классной, значилось: *Lundi, de 2 à 3, Maître d'Histoire et de Géographie*;<sup>19</sup> и вот этого-то *Maître d'Histoire* мы должны были дожидаться, выслушать и проводить прежде, чем быть свободными. Было уже двадцать минут третьего, а учителя истории не было еще ни слышно, ни видно даже на улице, по которой он должен был прийти, и на которую я смотрел с сильным желанием никогда не видать его.

– Кажется, Лебедев нынче не придет, – сказал Володя, отрываясь на минуту от книги Смарагдова, по которой он готовил урок.

– Дай Бог, дай Бог.... а то я ровно ничего не знаю.... однако, кажется, вон он идет, – прибавил я печальным голосом.

Володя встал и подошел к окну.

– Нет, это не он, это какой-то *барин*, – сказал он. – Подождем еще до половины третьего, – прибавил он, потягиваясь и в то же время почесывая маковку, как он это обыкновенно делал, на минуту отдыхая от занятий. – Ежели не придет и в половине третьего, тогда можно будет сказать *St.-Jérôme*'у, чтобы убрать тетради.

– И охота ему хо-о-о-о-дить, – сказал я, тоже потягиваясь и потрясая над головой книгу Кайданова, которую держал в обеих руках.

От нечего делать я раскрыл книгу на том месте, где был задан урок, и стал прочитывать его. Урок был большой и трудный, я ничего не знал и видел, что уже никак не успею хоть что-нибудь запомнить из него, тем более, что находился в том раздраженном состоянии, в котором мысли отказываются остановиться на каком-бы то ни было предмете.

За прошедший урок истории, которая всегда казалась мне самым скучным, тяжелым предметом, Лебедев жаловался на меня *St.-Jérôme*'у и в тетради баллов поставил мне два, что считалось очень дурным. *St.-Jérôme* тогда еще сказал мне, что ежели в следующий урок я получу меньше трех, то буду строго наказан. Теперь-то предстоял этот следующий урок, и, признаюсь, я сильно трусил.

Я так увлекся перечитыванием незнакомого мне урока, что послышавшийся в передней стук снимания калош внезапно поразил меня. Едва успел я оглянуться, как в дверях показалось рябое, отвратительное для меня лицо и слишком знакомая неуклюжая фигура учителя в синем застегнутом фраке с учеными пуговицами.

Учитель медленно положил шапку на окно, тетради на стол, раздвинул обеими руками фалды своего фрака (как будто это было очень нужно) и отдуваясь сел на свое место.

– Ну-с, господа, – сказал он, потирая одну о другую свои потные руки: – пройдемте-с сперва то, что было сказано в прошедший класс, а потом я постараюсь познакомить вас с дальнейшими событиями средних веков.

Это значило: сказывайте уроки.

<sup>19</sup> [Понедельник от 2 до 3 – учитель истории и географии ;]

В то время как Володя отвечал ему с свободой и уверенностью, свойственной тем, кто хорошо знает предмет, я без всякой цели вышел на лестницу, и так как вниз нельзя мне было итти, весьма естественно, что я незаметно для самого себя очутился на площадке. Но только-что я хотел поместиться на обыкновенном poste своих наблюдений – за дверь, как вдруг Мими, всегда бывшая причиною моих несчастий, наткнулась на меня. «Вы здесь?» сказала она, грозно посмотрев на меня, потом на дверь девичьей и потом опять на меня.

Я чувствовал себя кругом виноватым и за то, что был не в классе, и за то, что находился в таком неуказанном месте, поэтому молчал и, опустив голову, являл в своей особе самое трогательное выражение раскаяния.

– Нет, это уж ни на что не похоже! – сказала Мими, – что вы здесь делали? – Я помолчал. – Нет, это так не останется, – повторила она, постукивая щиколками пальцев о перила лестницы, – я всё расскажу графине.

Было уже без пяти минут три, когда я вернулся в класс. Учитель, как будто не замечая ни моего отсутствия, ни моего присутствия, объяснял Володе следующий урок. Когда он, окончив свои толкования, начал складывать тетради, и Володя вышел в другую комнату, чтобы принести билетик, мне пришла отрадная мысль, что всё кончено, и про меня забудут.

Но вдруг учитель с злодейской полу-улыбкой обратился ко мне.

– Надеюсь, вы выучили свой урок-с, – сказал он, потирая руки.

– Выучил-с, – отвечал я

– Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого, – сказал он, покачиваясь на стуле и задумчиво глядя себе под ноги. – Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест, – сказал он, поднимая брови и указывая пальцем на чернильницу; – потом объясните мне общие характеристические черты этого похода, – прибавил он, делая всей кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь; – и, наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще, – сказал он, ударяя тетрадями по левой стороне стола, – и на французское королевство в особенности, – заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо.

Я проглотил несколько раз слюни, прокашлялся, склонил голову на бок и молчал. Потом, взяв перо, лежавшее на столе, начал обрывать его и всё молчал.

– Позвольте перышко, – сказал мне учитель, протягивая руку.– Оно пригодится. Ну-с.

– Людо.... кар.... Лудовик Святой был.... был.... был.... добрый и умный царь....

– Кто-с?

– Царь. Он вздумал пойти в Иерусалим и *передал бразды правления* своей матери.

– Как ее звали-с?

– Б.... б....ланка.

– Как-с? буланка?

Я усмехнулся как-то криво и неловко.

– Ну-с, не знаете ли еще чего-нибудь? – сказал он с усмешкой.

Мне нечего было терять, я прокашлялся и начал врать всё, что только мне приходило в голову. Учитель молчал, сметая со стола пыль перышком, которое он у меня отнял, пристально смотрел мимо моего уха и приговаривал: «хорошо-с, очень хорошо-с». Я чувствовал, что ничего не знаю, выражаюсь совсем не так, как следует, и мне страшно больно было видеть, что учитель не останавливает и не поправляет меня.

– Зачем же он вздумал итти в Иерусалим? – сказал он, повторяя мои слова.

– Затем... потому... оттого, затем что...

Я решительно замаялся, не сказал ни слова больше и чувствовал, что ежели этот злодей-учитель хоть год целый будет молчать и вопросительно смотреть на меня, я всё-таки не в состоянии буду произнести более ни одного звука. Учитель минуты три смотрел на меня,

потом вдруг проявил в своем лице выражение глубокой печали и чувствительным голосом сказал Володе, который в это время вошел в комнату:

– Позвольте мне тетрадку: проставить баллы.

Володя подал ему тетрадь и осторожно положил билетик подле нее.

Учитель развернул тетрадь и, бережно обмокнув перо, красивым почерком написал Володе пять в графе успехов и поведения. Потом, остановив перо над графой, в которой означались мои баллы, он посмотрел на меня, стряхнул чернила и задумался.

Вдруг рука его сделала чуть заметное движение, и в графе появилась красиво начерченная единица и точка; другое движение – и в графе поведения другая единица и точка.

Бережно сложив тетрадь баллов, учитель встал и подошел к двери, как будто не замечая моего взгляда, в котором выражались отчаяние, мольба и упрек.

– Михаил Ларионыч! – сказал я.

– Нет, – отвечал он, понимая уже, что я хотел сказать ему: – так нельзя учиться. Я не хочу даром денег брать.

Учитель надел калоши, камлотовую шинель, с большим тщанием повязался шарфом. Как будто можно было о чем-нибудь заботиться после того, что случилось со мной? Для него движение пера, а для меня величайшее несчастье.

– Класс кончен? – спросил St.-Jérôme, входя в комнату.

– Да.

– Учитель доволен вами?

– Да, – сказал Володя.

– Сколько вы получили?

– Пять.

– А Nicolas?

Я молчал.

– Кажется, четыре, – сказал Володя.

Он понимал, что меня нужно было спасти, хотя на нынешний день. Пускай накажут, только бы не нынче, когда у нас гости.

– Voyons, Messieurs<sup>20</sup> (St.-Jérôme имел привычку ко всякому слову говорить: voyons)! faites votre toilette et descendons.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> [Ну же, господа]

<sup>21</sup> [займитесь вашим туалетом, и идемте вниз.]

## ГЛАВА XII. КЛЮЧИК.

Едва успели мы, сойдя вниз, поздороваться со всеми гостями, как нас позвали к столу. Папа был очень весел (он был в выигрыше в это время), подарил Любочке дорогой серебряный сервиз и за обедом вспомнил, что у него во флигеле осталась еще бомбоньерка, приготовленная для именинницы.

– Чем человека посылать, поди-ка лучше ты, Коко, – сказал он мне. – Ключи лежат на большом столе в раковине, знаешь?... Так возьми их и самым большим ключом ототри второй ящик направо. Там найдешь коробочку, конфеты в бумаге и принесешь всё сюда.

– А сигары принести тебе? – спросил я, зная, что он всегда после обеда посылал за ними.

– Принеси, да смотри у меня ничего не трогать! – сказал он мне вслед.

Найдя ключи на указанном месте, я хотел уже отпирать ящик, как меня остановило желание узнать, какую вещь отпирал крошечный ключик, висевший на той же связке.

На столе, между тысячью разнообразных вещей, стоял около перилец шитый портфель с висячим замочком, и мне захотелось попробовать, придется ли к нему маленький ключик. Испытание увенчалось полным успехом, портфель открылся, и я нашел в нем целую кучу бумаг. Чувство любопытства с таким убеждением советовало мне узнать, какие были эти бумаги, что я не успел прислушаться к голосу совести и принялся рассматривать то, что находилось в портфеле....

Детское чувство безусловного уважения ко всем старшим, и в особенности к папа, было так сильно во мне, что ум мой бессознательно отказывался выводить какие бы то ни было заключения из того, что я видел. Я чувствовал, что папа должен жить в сфере совершенно особенной, прекрасной, недоступной и непостижимой для меня, и что стараться проникать тайны его жизни было бы с моей стороны чем-то в роде святотатства.

Поэтому открытия, почти нечаянно сделанные мною в портфеле папа, не оставили во мне никакого ясного понятия, исключая темного сознания, что я поступил нехорошо. Мне было стыдно и неловко.

Под влиянием этого чувства, я как можно скорее хотел закрыть портфель, но мне видно суждено было испытать всевозможные несчастья в этот достопамятный день: вложив ключик в замочную скважину, я повернул его не в ту сторону; воображая, что замок заперт, я вынул ключ и – о ужас! – у меня в руках была только головка ключика. Тщетно я старался соединить ее с оставшейся в замке половиной и посредством какого-то волшебства высвободить ее оттуда; надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я совершил новое преступление, которое нынче же по возвращении папа в кабинет должно будет открыться.

Жалоба Мими, единица и ключик! Хуже ничего не могло со мной случиться. Бабушка – за жалобу Мими, St.-Jérôme – за единицу, папа – за ключик.... и всё это обрушится на меня не позже как нынче вечером.

– Что со мной будет?! А-а-ах! что я наделал?! – говорил я вслух, прохаживаясь по мягкому ковру кабинета. – Э! – сказал я сам себе, доставая конфеты и сигары: – *чему быть, тому не миновать*.... И побежал в дом.

Это фаталистическое изречение, в детстве подслушанное мною у Николая, во все трудные минуты моей жизни производило на меня благотворное, временно-успокоивающее влияние. Входя в залу, я находился в несколько раздраженном и неестественном, но чрезвычайно веселом состоянии духа.

## ГЛАВА XIII. ИЗМЕННИЦА.

После обеда начались *petits jeux*, и я принимал в них живейшее участие. Играя в «кошку мышку», как-то неловко разбежавшись на гувернантку Корнаковых, которая играла с нами, я нечаянно наступил ей на платье и оборвал его. Заметив, что всем девочкам, и в особенности Сонечке, доставляло большое удовольствие видеть, как гувернантка с расстроенным лицом пошла в девичью зашивать свое платье, я решился доставить им это удовольствие еще раз. Вследствие такого любезного намерения, как только гувернантка вернулась в комнату, я принялся галопировать вокруг нее и продолжал эти эволюции до тех пор, пока не нашел удобной минуты снова зацепить каблуком за ее юбку и оборвать. Сонечка и княжны едва могли удержаться от смеха, что весьма приятно польстило моему самолюбию; но *St.-Jérôme*, заметив, должно быть, мои проделки, подошел ко мне и, нахмутив брови (чего я терпеть не мог), сказал, что я, кажется, не к добру развеселился, и что ежели я не буду скромнее, то, несмотря на праздник, он заставит меня раскаяться.

Но я находился в раздраженном состоянии человека, проигравшего более того, что у него есть в кармане, который боится счесть свою запись и продолжает ставить отчаянные карты уже без надежды отыграться, а только для того, чтобы не давать самому себе времени опомниться. Я дерзко улыбнулся и ушел от него.

После «кошки мышки» кто-то затеял игру, которая называлась у нас, кажется, *Lange Nase*.<sup>22</sup> Сущность игры состояла в том, что ставили два ряда стульев, один против другого, и дамы и кавалеры разделялись на две партии и по переменкам выбирали одна другую.

Младшая княжна каждый раз выбирала меньшого Ивина, Катенька выбирала или Володю, или Иленьку, а Сонечка каждый раз Сережу, и несколько не стыдилась, к моему крайнему удивлению, когда Сережа прямо шел и садился против нее. Она смеялась своим милым звонким смехом и делала ему головкой знак, что он угадал. Меня же никто не выбирал. К крайнему оскорблению моего самолюбия, я понимал, что я лишний, *остающийся*, что про меня всякий раз должны были говорить: *Кто еще остается?* «Да *Николенъка*; ну вот ты его и возьми». Поэтому, когда мне приходилось выходить, я прямо подходил или к сестре, или к одной из некрасивых княжен и, к несчастью, никогда не ошибался. Сонечка же, казалось, так была занята Сережей Ивиным, что я не существовал для нее вовсе. Не знаю, на каком основании называл я ее мысленно *изменницею*, так как она никогда не давала мне обещания выбирать меня, а не Сережу; но я твердо был убежден, что она самым гнусным образом поступила со мною.

После игры я заметил, что *изменница*, которую я презирал, но с которой, однако, не мог спустить глаз, вместе с Сережей и Катенькой отошли в угол и о чем-то таинственно разговаривали. Подкравшись из-за фортепьян, чтобы открыть их секреты, я увидел следующее: Катенька держала за два конца батистовый платочек в виде ширм, заслоняя им головы Сережи и Сонечки. «Нет, проиграли, теперь расплачивайтесь!» – говорил Сережа. Сонечка, опустив руки, стояла перед ним точно виноватая и, краснея, говорила: «Нет, я не проиграла, не правда ли, *m-lle Catherine?*» – «Я люблю правду, – отвечала Катенька, – проиграла пари, *ma chère*».

Едва успела Катенька произнести эти слова, как Сережа нагнулся и поцаловал Сонечку. Так прямо и поцаловал в ее розовые губки. И Сонечка засмеялась, как будто это ничего, как будто это очень весело. Ужасно!!! О, коварная изменница!

<sup>22</sup> [Длинный нос.]

## ГЛАВА XIV. ЗАТМЕНИЕ.

Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу вообще и к Сонечке в особенности; начал уверять себя, что ничего веселого нет в этих играх, что они приличны только *девчонкам*, и мне чрезвычайно захотелось буянить и сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила. Случай не замедлил представиться.

St.-Jérôme, поговорив о чем-то с Мими, вышел из комнаты; звуки его шагов послышались сначала на лестнице, а потом над нами, по направлению классной. Мне пришла мысль, что Мими сказала ему, где она видела меня во время класса, и что он пошел посмотреть журнал. Я не предполагал в это время у St.-Jérôme'a другой цели в жизни, как желания наказать меня. Я читал где-то, что дети от 12 до 14 лет, т.-е. находящиеся в переходном возрасте отрочества, бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить; но *так* – из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит. – Под влиянием этого же временного отсутствия мысли, – рассеянности почти, – крестьянский парень лет семнадцати, осматривая лезвие только-что отточенного топора подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи; под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства, человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать: а что если туда броситься? или приставить ко лбу заряженный пистолет и думать: а что ежели нажать гашетку? или посмотреть на какое-нибудь очень важное лицо, к которому всё общество чувствует подобострастное уважение и думать: а что ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать: «а ну-ка, любезный, пойдём»?

Под влиянием такого же внутреннего волнения и отсутствия размышления, когда St.-Jérôme сошел вниз и сказал мне, что я не имею права здесь быть нынче за то, что так дурно вел себя и учился, чтобы я сейчас же шел наверх, я показал ему язык и сказал, что не пойду отсюда.

В первую минуту St.-Jérôme не мог слова произнести от удивления и злости

– *C'est bien*,<sup>23</sup> – сказал он, догоняя меня: – я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что, кроме розог, вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили.

Он сказал это так громко, что все слышали его слова. Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу; я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица, и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что St.-Jérôme, избегая моего взгляда, быстро подошел ко мне и схватил за руку; но только-что я почувствовал прикосновение его руки, мне сделалось так дурно, что я, не помня себя от злобы, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его.

---

<sup>23</sup> [Хорошо.]

– Что с тобой делается? – сказал, подходя ко мне, Володя, с ужасом и удивлением видевший мой поступок.

– Оставь меня! – закричал я на него сквозь слезы: – никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны, – прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу.

Но в это время St.-Jérôme, с решительным и бледным лицом, снова подошел ко мне и, не успев я приготовиться к защите, как он уже сильным движением, как тисками, сжал мои обе руки и потащил куда-то. Голова моя закружилась от волнения; помню только, что я отчаянно бился головой и коленками до тех пор, пока во мне были еще силы; помню, что нос мой несколько раз наткался на чьи-то ляжки, что в рот мне попадал чей-то сюртук, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих-то ног, запах пыли и violette,<sup>24</sup> которой душился St.-Jérôme.

Через пять минут за мной затворилась дверь чулана.

– Василь! – сказал *он* отвратительным, торжествующим голосом: – принеси розог.

---

<sup>24</sup> [фиалок,]

## ГЛАВА XV. МЕЧТЫ.

Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня, и что придет время, когда я спокойно буду вспоминать о них?...

Припоминая то, что я сделал, я не мог вообразить себе, что со мной будет; но смутно предчувствовал, что пропал безвозвратно.

Сначала внизу и вокруг меня царствовала совершенная тишина, или по крайней мере мне так казалось, от слишком сильного внутреннего волнения, но мало-по-малу я стал различать различные звуки. Василий пришел снизу и, бросив на окно какую-то вещь, похожую на метлу, зевая, улегся на ларь. Внизу послышался громкий голос Августа Антоныча (должно быть он говорил про меня), потом детские голоса, потом смех, беготня, а через несколько минут в доме всё пришло в прежнее движение, как будто никто не знал и не думал о том, что я сижу в темном чулане.

Я не плакал, но что-то тяжелое как камень лежало у меня на сердце. Мысли и представления с усиленной быстротой проходили в моем расстроенном воображении; но воспоминание о несчастии, постигшем меня, беспрестанно прерывало их причудливую цепь, и я снова входил в безвыходный лабиринт неизвестности о предстоящей мне участи, отчаяния и страха.

То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. (В то время я был твердо убежден, что все, начиная от бабушки и до Филиппа кучера, ненавидят меня и находят наслаждение в моих страданиях.) Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости, говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мне отрадно думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения, и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Иваныча.

«Но зачем дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже успел проникнуть ее? – говорю я сам себе, – завтра же пойду к папа и скажу ему: «Папа! напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения; я знаю ее». Он скажет: «что ж делать, мой друг, рано или поздно ты узнал бы это, – ты не мой сын, но я усыновил тебя, и ежели ты будешь достоин моей любви, то я никогда не оставлю тебя», и я скажу ему: «папа, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но я теперь произношу его в последний раз, я всегда любил тебя и буду любить, никогда не забуду, что ты мой благодетель, но не могу больше оставаться в твоём доме. Здесь никто не любит меня, а St.-Jérôme поклялся в моей гибели. Он или я должны оставить твой дом, потому что я не отвечаю за себя, я до такой степени ненавижу этого человека, что готов на всё. Я убью его», так и сказать: «папа! я убью его». Папа станет просить меня, но я махну рукой, скажу ему – «нет, мой друг, мой благодетель, мы не можем жить вместе, а отпусти меня», и я обниму его и скажу ему, почему-то по-французски: «Oh mon père, oh mon bienfaiteur, donne moi pour la dernière fois ta bénédiction et que la volonté de Dieu soit faite!»<sup>25</sup> И я, сидя на сундуке, в темном чулане, плачу навзрыд при этой мысли. Но вдруг я вспоминаю постыдное наказание, ожидающее меня, действительность представляется мне в настоящем свете, и мечты мгновенно разлетаются.

То я воображаю себя уже на свободе, вне нашего дома. Я поступаю в гусары и иду на войну. Со всех сторон на меня несутся враги, я размахиваюсь саблей и убиваю одного, другой взмах – убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении от ран и усталости, я падаю на землю и кричу: «победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает: «где он – наш спаситель?»

---

<sup>25</sup> [О мой отец, о мой благодетель, дай мне в последний раз свое благословение, и да совершится воля божия!]

Ему указывают на меня, он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «победа!» Я выздоравливаю и, с подвязанной черным платком рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал! Но вот *Государь* встречает меня и спрашивает, кто этот израненный молодой человек? Ему говорят, что это известный герой Николай. Государь подходит ко мне и говорит: «благодарю тебя. Я всё сделаю, что бы ты ни просил у меня». Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: «я счастлив, великий Государь, что мог пролить кровь за свое отечество, и желал бы умереть за него; но ежели ты так милостив, что позволяешь мне просить тебя, прошу об одном – позволь мне уничтожить врага моего, иностранца St.-Jérôme'a. Мне хочется уничтожить врага моего St.-Jérôme'a». Я грозно останавливаюсь перед St.-Jérôme'ом и говорю ему: «ты сделал мое несчастье, à genoux!»<sup>26</sup> Но вдруг мне приходит мысль, что с минуты на минуту может войти настоящий St.-Jérôme с розгами, и я снова вижу себя не генералом, спасающим отечество, а самым жалким, плачевным созданием.

То мне приходит мысль о Боге, и я дерзко спрашиваю Его, за что он наказывает меня? «Я кажется не забывал молиться утром и вечером, так за что же я страдаю?» Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь, не потому, что бы несчастье побудило меня к ропоту и неверию, но потому, что мысль о несправедливости Провидения, пришедшая мне в голову в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно, после дождя, упавшее на рыхлую землю, с быстротой стало разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление St.-Jérôme'a, находящего в чулане, вместо меня, безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до сорока дней не оставляет дома, я мысленно после смерти ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки, сожаления бабушки и разговор папа с Августом Антонычем. «Он славный был мальчик», скажет папа со слезами на глазах – «Да – скажет St.-Jérôme – но большой повеса». – «Вы бы должны уважать мертвых – скажет папа – вы были причиной его смерти, вы запугали его, он не мог перенести унижения, которое вы готовили ему... Вон отсюда, злодей!»

И St.-Jérôme упадет на колени, будет плакать и просить прощения. После сорока дней, душа моя улетает на небо; я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня; но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. Ежели это точно ты, говорю я, то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя. И мне отвечает ее голос: «здесь мы все такие, я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?» Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук... «Не надо этого, здесь и так прекрасно», говорит она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим всё выше и выше. Тут я как будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундуке, в темном чулане, с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли, твердящего слова: *и мы всё летим выше и выше*. Я долго употребляю всевозможные усилия, чтобы уяснить свое положение; но умственному взору моему представляется в настоящем только одна страшно мрачная, непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным, счастливым мечтам, которые прервало сознание действительности; но, к удивлению моему, как скоро вхожу в колею прежних мечтаний, я вижу, что продолжение их невозможно и, что всего удивительнее, не доставляет уже мне никакого удовольствия.

<sup>26</sup> [на колени!]

## ГЛАВА XVI. ПЕРЕМЕЛЕТСЯ, МУКА БУДЕТ.

Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне; только на другой день, т. е. в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку, подле классной, и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои, под влиянием сладкого, крепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокаиваться. Но уединение всё-таки было очень тяжело: мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь всё, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно потому, что, как мне ни противно было, я не мог не слышать, как St.-Jérôme, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня.

В два часа St.-Jérôme и Володя сошли вниз, а Николай принес мне обед, и когда я разговорился с ним о том, что я наделал, и что ожидает меня, он сказал:

– Эх, сударь! не тужите, перемелется, мука будет.

Хотя это изречение, не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа, несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожное розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня наказывают заточением, но теперь выходило, что я еще не наказан, что я только удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время, как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и St.-Jérôme с суровым и официальным лицом вошел в комнату.

– Пойдемте к бабушке, – сказал он, не глядя на меня.

Я хотел было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде, чем выйти из комнаты, но St.-Jérôme сказал мне, что это совершенно бесполезно, как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о наружном своем виде не стоило и заботиться.

Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как St.-Jérôme за руку проводил меня чрез залу, точно о том же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошел к креслу бабушки, с намерением поцеловать ее руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью.

– Да, мой милый, – сказала она, после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки: – могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Mr St.-Jérôme, который по моей просьбе, – прибавила она, растягивая каждое слово: – взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме. Отчего? От вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны, – продолжала она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что речь ее была приготовлена заблаговременно: – за попечения и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги, а вы, молокосос, мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо! Прекрасно!! Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие, низкие средства... Проси сейчас прощения, – прибавила она строго-повелительным тоном, указывая на St.-Jérôme'a: – слышишь?

Я посмотрел по направлению руки бабушки и, увидев сюртук St.-Jérôme'a, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца.

– Что же? вы не слышите разве, что я вам говорю?

Я дрожал всем телом, но не трогался с места.

– Коко! – сказала бабушка, должно быть заметив внутренние страдания, которые я испытывал. – Коко, – сказала она уже не столько повелительным, сколько нежным голосом: – ты ли это?

– Бабушка! я не буду просить у него прощения ни за что... – сказал я, вдруг останавливаясь, чувствуя, что не в состоянии буду удержать слез, давивших меня, ежели скажу еще одно слово.

– Я приказываю тебе, я прошу тебя. Что же ты?

– Я... я... не... хочу... я не могу, – проговорил я, и сдержанные рыдания, накопившиеся в моей груди, вдруг опрокинули преграду, удерживавшую их, и разразились отчаянным потоком.

– *C'est ainsi que vous obéissez à votre seconde mère, c'est ainsi que vous reconnaissez ses bontés,*<sup>27</sup> сказал St.-Jérôme трагическим голосом: – *à genoux!*<sup>28</sup>

– Боже мой, ежели бы она видела это! – сказала бабушка, отворачиваясь от меня и отирая показавшиеся слезы. – Ежели бы она видела... всё к лучшему. Да, она не перенесла бы этого горя, не перенесла бы.

И бабушка плакала всё сильнее и сильнее. Я плакал тоже, но и не думал просить прощения.

– *Tranquillisez-vous au nom du ciel, M-me la comtesse,*<sup>29</sup> – говорил St.-Jérôme.

Но бабушка уже не слушала его, она закрыла лицо руками, и рыдания ее скоро перешли в икоту и истерику. В комнату с испуганными лицами вбежали Мими и Гаша, запахло какими-то спиртами, и по всему дому вдруг поднялись беготня и шептанье.

– Любуйтесь на ваше дело, – сказал St.-Jérôme, уводя меня наверх.

– Боже мой, что я наделал! какой я ужасный преступник!

Только-что St.-Jérôme, сказав мне, чтобы я шел в свою комнату, спустился вниз, – я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу.

Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню; знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видеть никого, я бежал всё дальше и дальше по лестнице.

– Ты куда? – спросил меня вдруг знакомый голос. – Тебя-то мне и нужно, голубчик.

Я хотел было пробежать мимо, но папа схватил меня за руку и строго сказал:

– Пойдем-ка со мной, любезный! – Как ты смел трогать портфель в моем кабинете, – сказал он, вводя меня за собой в маленькую диванную. – А? что ж ты молчишь? А? – прибавил он, взяв меня за ухо.

– Виноват, – сказал я; – я сам не знаю, что на меня нашло.

– А, не знаешь, что на тебя нашло, не знаешь, не знаешь, не знаешь, не знаешь, – повторял он, с каждым словом потрясая мое ухо: – будешь вперед совать нос, куда не следует, будешь? будешь?

Несмотря на то, что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятное моральное чувство. Только-что папа выпустил мое ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать ее поцелуями.

– Бей меня еще, – говорил я сквозь слезы: – крепче, сильнее, я негодный, я гадкий, я несчастный человек!

– Что с тобой? – сказал он, слегка отталкивая меня.

– Нет, ни за что не пойду, – сказал я, цепляясь за его сюртук. – Все ненавидят меня, я это знаю, но, ради Бога, ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить, он всячески старается унижить меня, велит становиться на колени перед собой, хочет высечь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя.

---

<sup>27</sup> [Так-то вы повинуетесь своей второй матери, так-то вы оплачиваете за ее доброту,]

<sup>28</sup> [на колени!]

<sup>29</sup> [Ради бога, успокойтесь, графиня,]

*Он* сказал бабушке, что я негодный; она теперь больна, она умрет от меня, я... с... ним... ради Бога, высеки... за... что... му... чат.

Слезы душили меня, я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колена, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту.

– Об чем ты, пузырь? – сказал папа с участием, наклоняясь ко мне.

– *Он* мой тиран... мучитель... умру... никто меня не любит! – едва мог проговорить я, и со мной сделались конвульсии.

Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул.

Когда я проснулся, было уже очень поздно, одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после двенадцатичасового сна, что сейчас бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен.

## ГЛАВА XVII. НЕНАВИСТЬ.

Да, это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в романах, и в которую я не верю, ненависти, которая будто находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волосы, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и, вместе с тем, какой-то непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками. Я испытывал это чувство к St.-Jérôme.

St.-Jérôme жил у нас уже полтора года. Обсуживая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Всё это мне очень не нравилось. Само собою разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас; но несмотря на это, он часто угрожал, в особенности мне, розгами и выговаривал слово fouetter<sup>30</sup> (как-то fouatter) так отвратительно и с такой интонацией, как будто высесть меня доставило бы ему величайшее удовольствие.

Я несколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее, но одна мысль, что St.-Jérôme может ударить меня, приводила меня в тяжелое состояние подавленного отчаяния и злобы.

Случалось, что Карл Иваныч, в минуту досады, лично расправлялся с нами линейкой или помочами; но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю (когда мне было четырнадцать лет), ежели бы Карлу Иванычу случилось приколотить меня, я хладнокровно перенес бы его побои. Карла Иваныча я любил, помнил его с тех пор, как самого себя, и привык считать членом своего семейства; но St.-Jérôme был человек гордый, самодовольный, к которому я ничего не чувствовал, кроме того невольного уважения, которое внушали мне все *большие*. Карл Иваныч был смешной старик-дядька, которого я любил от души; но ставил всё-таки ниже себя в моем детском понимании общественного положения.

St.-Jérôme, напротив, был образованный, красивый молодой щеголь, старающийся стать наравне со всеми. Карл Иваныч бранил и наказывал нас всегда хладнокровно, видно было, что он считал это хотя необходимою, но неприятною обязанностью. St.-Jérôme, напротив, любил драпироваться в роль наставника; видно было, когда он наказывал нас, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слого, accent circonflex'ами, были для меня невыразимо противны. Карл Иваныч, рассердившись, говорил «кукольная комедия, шалуныя мальшик, шампанская мушка». St.-Jérôme называл нас *mauvais sujet, vilain garnement*<sup>31</sup> и т. п. названиями, которые оскорбляли мое самолюбие.

Карл Иваныч ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения; St.-Jérôme, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал: «à genoux, mauvais sujet!», приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении.

Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось; но я не мог забыть всего, что испытал: отчаяния, стыда, страха и ненависти в эти два дня.

<sup>30</sup> [сечь]

<sup>31</sup> [негодяй, мерзавец]

Несмотря на то, что с того времени St.-Jérôme, как казалось, махнул на меня рукою, почти не занимался мною, я не мог привыкнуть смотреть на него равнодушно. Всякий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось, что во взгляде моем выражается слишком явная неприязнь, и я спешил принять выражение равнодушия, но тогда мне казалось, что он понимает мое притворство, я краснел и вовсе отворачивался.

Одним словом, мне невыразимо тяжело было иметь с ним какие бы то ни было отношения.

## ГЛАВА XVIII. ДЕВИЧЬЯ.

Я чувствовал себя всё более и более одиноким, и главными моими удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения. О предмете моих размышлений расскажу в следующей главе; театром же моих наблюдений преимущественно была девичья, в которой происходил весьма для меня занимательный и трогательный роман. Героиней этого романа, самособой разумеется, была Маша. Она была влюблена в Василья, знавшего ее еще тогда, когда она жила на воле, и обещавшего еще тогда на ней жениться. Судьба, разлучившая их пять лет тому назад, снова соединила их в бабушкином доме, но положила преграду их взаимной любви в лице Николая (родного дяди Маши), не хотевшего и слышать о замужестве своей племянницы с Васильем, которого он называл человеком *несообразным* и *необузданным*.

Преграда эта сделала то, что прежде довольно хладнокровный и небрежный в обращении Василий вдруг влюбился в Машу, влюбился так, как только способен на такое чувство дворовый человек из портных, в розовой рубашке и с напомаженными волосами.

Несмотря на то, что проявления его любви были весьма странны и несообразны (например, встречая Машу, он всегда старался причинить ей боль, или щипал ее, или бил ладонью, или сжимал ее с такой силой, что она едва могла переводить дыхание), но самая любовь его была искренна, что доказывается уже тем, что с той поры, как Николай решительно отказал ему в руке своей племянницы, Василий *запил* с горя, стал шляться по кабакам, буянить, одним словом, вести себя так дурно, что не раз подвергался постыдному наказанию на съезжей. — Но поступки эти и их последствия, казалось, были заслугой в глазах Маши и увеличивали еще ее любовь к нему. Когда Василий *содержался в части*, Маша по целым дням, не осушая глаз, плакала, жаловалась на свою горькую судьбу Гаше (принимавшей живое участие в делах несчастных любовников) и, презирая брань и побои своего дяди, потихоньку бегала в полицию навещать и утешать своего друга.

Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно ли вам, или не угодно будет следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне видно всё, что происходит в девичьей. — Вот лежанка, на которой стоят утюг, картонная кукла с разбитым носом, лоханка, рукомойник; вот окно, на котором в беспорядке валяются кусочек черного воска, моток шелку, откушенный зеленый огурец и конфетная корбочка, вот и большой красный стол, на котором, на начатом шитье, лежит кирпич, обшитый ситцем, и за которым сидит *она* в моем любимом, розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое внимание. *Она* шьет, изредка останавливаясь, чтобы почесать иголкой голову, или поправить свечку, а я смотрю и думаю: «отчего она не родилась барыней, с этими светлыми голубыми глазами, огромной русой косой и высокой грудью? Как бы ей пристало сидеть в гостиной, в чепчике с розовыми лентами и в малиновом шелковом капоте, не в таком, какой у Мими, а какой я видел на Тверском бульваре. Она бы шила в пальцах, а я бы в зеркало смотрел на нее и что бы ни захотела, я всё бы для нее делал; подавал бы ей салоп, кушанье сам бы подавал...»

И что за пьяное лицо и отвратительная фигура у этого Василья в узком сюртуке, надетом сверх грязной розовой рубашки на выпуск! В каждом его телодвижении, в каждом изгибе его спины, мне кажется, что я вижу несомненные признаки отвратительного наказания, постигнувшего его...

— Что Вася? опять, — сказала Маша, втыкая иголку в подушку и не поднимая головы навстречу входившему Василью.

– А что ж? разве от *него* добро будет, – отвечал Василий: – хоть бы решил одним чем-нибудь; а то пропадаю, так ни за что и всё через *него*.

– Чай будете пить? – сказала Надежа, другая горничная

– Благодарю покорно. И ведь за что ненавидит, вор этот, дядя-то твой, за что? за то, что платье себе настоящее имею, за форц за мой, за походку мою. Одно слово. Эх-ма! – заключил Василий, махнув рукой.

– Надо покорным быть, – сказала Маша, скусывая нитку:– а вы так всё....

– Мочи моей не стало, вот что!

В это время, в комнате бабушки, послышался стук дверью и ворчливый голос Гаши, приближавшейся по лестнице.

– Поди тут угоди, когда сама не знает, чего хочет... проклятая *жисть*, каторжная! Хоть бы одно что, прости, Господи, мое согрешение, – бормотала она, размахивая руками.

– Мое почтение, Агафье Михайловне, – сказал Василий, приподнимаясь ей навстречу.

– Ну, вас тут! Не до твоего почтения, – отвечала она грозно, глядя на него: – и зачем ходишь сюда? разве место к девкам мужчине ходить....

– Хотел об вашем здоровьи узнать, – робко сказал Василий.

– Издохну скоро, вот какое мое здоровье, – еще с большим гневом, во весь рот прокричала Агафья Михайловна.

Василий засмеялся.

– Тут смеяться нечего, а коли говорю, что убирайся, так марш! Вишь, поганец, тоже жениться хочет, подлец! Ну, марш, отправляйся!

И Агафья Михайловна, топая ногами, прошла в свою комнату, так сильно стукнув дверью, что стекла задрожали в окнах.

За перегородкой долго еще слышалось, как, продолжая бранить всё и всех и проклиная свое житье, она швыряла свои вещи и драла за уши свою любимую кошку; наконец, дверь приотворилась, и в нее вылетела брошенная за хвост, жалобно мяукавшая кошка.

– Видно в другой раз прийти чайку напитокся, – сказал Василий шопотом: – до приятного свидания.

– Ничего, – сказала подмигивая Надежа: – я вот пойду самовар посмотрю.

– Да и сделаю ж я один конец, – продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надежа вышла из комнаты: – либо пойду прямо к графине, скажу: «так и так», либо уж... брошу всё, бегу на край света, ей-Богу.

– А я как останусь...

– Одну тебя жалею, а то бы уж даа...вно моя головушка на воле была, ей-Богу, ей-Богу.

– Что это ты, Вася, мне свои рубашки не принесешь постирать, – сказала Маша после минутного молчания: – а то, вишь, какая черная, – прибавила она, взяв его за ворот рубашка,

В это время внизу послышался колокольчик бабушки, и Гаша вышла из своей комнаты.

– Ну чего, подлый человек, от нее добиваешься? – сказала она, толкая в дверь Василья, который торопливо встал, увидав ее: – довел девку до евтого, да еще пристаешь, видно весело тебе, оголтелый, на ее слезы смотреть. Вон пошел. Чтобы духу твоего не было. И чего хорошего в нем нашла? – продолжала она, обращаясь к Маше. – Мало тебя колотил нынче дядя за него? Нет, всё свое: ни за кого не пойду, как за Василья Грускова. Дура!

– Да и не пойду ни за кого, не люблю никого, хоть убей меня до смерти за него, – проговорила Маша, вдруг разливаясь слезами.

Долго я смотрел на Машу, которая, лежа на сундуке, утирала слезы своей косынкой, и, всячески стараясь изменять свой взгляд на Василья, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться ей столь привлекательным. Но, несмотря на то, что я искренно сочувствовал ее печали, я никак не мог постигнуть, каким образом такое очаровательное создание, каким казалась Маша в моих глазах, могло любить Василья.

– Когда я буду большой, – рассуждал я сам с собой, вернувшись к себе наверх, – Петровское достанется мне, и Василий и Маша будут мои крепостные. Я буду сидеть в кабинете и курить трубку, Маша с утюгом пройдет в кухню. Я скажу: «позовите ко мне Машу». Она придет, и никого не будет в комнате.... Вдруг войдет Василий, и когда увидит Машу, скажет:

«пропала моя головушка!», и Маша тоже заплачет; а я скажу: «Василий! я знаю, что ты любишь ее, и она тебя любит, На вот тебе тысячу рублей, женись на ней, и дай Бог тебе счастья», а сам уйду в диванную. Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду; так что часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее. Такого рода глубокий след оставила в моей душе мысль о пожертвовании своего чувства в пользу счастья Маши, которое она могла найти только в супружестве с Васильем.

## ГЛАВА XIX. ОТРОЧЕСТВО.

Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества,— так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему.

Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий.

Мысли эти представлялись моему уму с такою ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие и полезные истины.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексикона Татищева, или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине, так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, — и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постеле, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.

То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. — После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы верно существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.

Это рассуждение, казавшееся мне чрезвычайно новым и ясным, и которого связь я с трудом могу уловить теперь, — понравилось мне чрезвычайно, и я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его; но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер, и все мысли мои сосредоточились на решении вопроса: в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет? В это время Володя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чем-то, и этой улыбки мне достаточно было, чтобы понять, что всё то, о чем я думал, была ужаснейшая гиль.

Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только затем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умствования.

Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния близкого сумасшествия. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я, под влиянием этой *постоянной идеи*, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь, врасплох, застать пустоту (*néant*) там, где меня не было.

Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности, – ум человека!

Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был смочь затрогивать.

Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка.

Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминание. Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил....

Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение.

## ГЛАВА XX. ВОЛОДЯ.

Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности.

Не стану час за часом следить за своими воспоминаниями, но брошу быстрый взгляд на главнейшие из них с того времени, до которого я довел свое повествование, и до сближения моего с необыкновенным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мой характер и направление.

Володя на днях поступает в университет, учителя уже ходят к нему отдельно, и я с завистью и невольным уважением слушаю, как он, бойко постукивая мелом о черную доску, толкует о функциях, синусах, координатах и т. п., которые кажутся мне выражениями недостижимой премудрости. Но вот в одно воскресенье, после обеда, в комнате бабушки собираются все учителя, два профессора и в присутствии папа и некоторых гостей делают репетицию университетского экзамена, в котором Володя, к великой радости бабушки, выказывает необыкновенные познания. Мне тоже делают вопросы из некоторых предметов, но я оказываюсь весьма плох, и профессора видимо стараются перед бабушкой скрыть мое незнание, что еще более конфузит меня. Впрочем, на меня мало и обращают внимания: мне только пятнадцать лет, следовательно остается еще год до экзамена. Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера проводит наверху за занятиями, не по принуждению, а по собственному желанию. Он чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен посредственно, а отлично.

Но вот наступил день первого экзамена. Володя надевает синий фрак с бронзовыми пуговицами, золотые часы и лакированные сапоги; к крыльцу подают фаэтон папа, Николай откидывает фартук, и Володя с St.-Jérôme'ом едут в университет. Девочки, в особенности Катенька, с радостными, восторженными лицами смотрят в окно на стройную фигуру садыщегося в экипаж Володи, папа говорит: «дай Бог, дай Бог», а бабушка, тоже притащившаяся к окну, со слезами на глазах, крестит Володю до тех пор, пока фаэтон не скрывается за углом переулка, и шепчет что-то.

Володя возвращается. Все с нетерпением спрашивают его: «что? хорошо? сколько?», но уже по веселому лицу его видно, что хорошо. Володя получил пять. На другой день с теми же желаниями успеха и страхом провожают его, и встречают с тем же нетерпением и радостью. Так проходит девять дней. На десятый день предстоит последний, самый трудный экзамен – Закона Божьего, все стоят у окна и еще с большим нетерпением ожидают его. Уже два часа, а Володи нет.

– Боже мой! Батюшки!!! они!! они!! – кричит Любочка, прильнув к стеклу.

И действительно, в фаэтоне рядом с St.-Jérôme'ом сидит Володя, но уже не в синем фраке и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым голубым воротником, в треугольной шляпе и с позолоченной шпагой на боку.

– Что, ежели бы ты была жива! – вскрикивает бабушка, увидав Володю в мундире, и падает в обморок.

Володя с сияющим лицом вбегает в переднюю, целует и обнимает меня, Любочку, Мими и Катеньку, которая при этом краснеет до самых ушей. Володя не помнит себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет голубой воротник к его чуть пробивающимся черным усикам! Какая у него тонкая длинная талия и благородная походка! В этот достопамятный день

все обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом, во время пирожного, дворецкий, с прилично-величавой и вместе веселой физиономией, приносит завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после кончины *tata* пьет шампанское, выпивает целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него. Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора, принимает *к себе своих* знакомых, курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки шампанского с своими знакомыми, и как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ и спорили о том, кому достанется *le fond de la bouteille*.<sup>32</sup> Он обедает, однако, регулярно дома и после обеда попрежнему усаживается в диванной и о чем-то вечно-таинственно беседует с Катенькой; но сколько я могу слышать – как не принимающий участия в их разговорах, – они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви, и я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят.

Вообще я замечаю, что между Катенькой и Володицей, кроме понятной дружбы между товарищами детства, существуют какие-то странные отношения, отдаляющие их от нас и таинственно связывающие их между собой.

---

<sup>32</sup> [дно бутылки.]

## ГЛАВА XXI. КАТЕНЬКА И ЛЮБОЧКА.

Катеньке шестнадцать лет; она выросла; угловатость форм, застенчивость и неловкость движений, свойственные девочке в переходном возрасте, уступили место гармонической свежести и грациозности только-что распустившегося цветка; но она не переменилась. Те же светло-голубые глаза и улыбающийся взгляд, тот же, составляющий почти одну линию со лбом, прямой носик с крепкими ноздрями и ротик с светлой улыбкой, те же крошечные ямочки на розовых прозрачных щечках, те же беленькие ручки... и к ней попрежнему почему-то чрезвычайно идет название *чистенькой* девочки. Нового в ней только густая русая коса, которую она носит как большие, и молодая грудь, появление которой заметно радует и стыдит ее.

Несмотря на то, что Любочка всегда росла и воспитывалась с нею вместе, она во всех отношениях совсем другая девочка.

Любочка невысока ростом и, вследствие английской болезни, у нее ноги до сих пор еще гусем и прегадкая талия. Хорошего во всей ее фигуре только глаза, и глаза эти действительно прекрасны – большие, черные и с таким неопределимо-приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания. Любочка во всем проста и натуральна; Катенька же как будто хочет быть похожей на кого-то. Любочка смотрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные черные глаза, не спускает их так долго, что ее бранят за это, говоря, что это неучтиво; Катенька, напротив, опускает ресницы, щурится и уверяет, что она близорука, тогда как я очень хорошо знаю, что она прекрасно видит. Любочка не любит ломаться при посторонних и, когда кто-нибудь при гостях начинает целовать ее, она дуется и говорит, что терпеть не может *нежностей*; Катенька, напротив, при гостях всегда делается особенно нежна к Мими и любит, обнявшись с какой-нибудь девочкой, ходить по зале. Любочка страшная хохотунья и иногда, в припадке смеха, машет руками и бегаёт по комнате; Катенька, напротив, закрывает рот платком или руками, когда начинает смеяться. Любочка всегда сидит прямо и ходит, опустив руки; Катенька держит голову несколько на бок и ходит, сложив руки. Любочка всегда ужасно рада, когда ей удастся поговорить с большим мужчиной и говорит, что она непременно выйдет замуж за гусара; Катенька же говорит, что все мужчины ей гадки, что она никогда не выйдет замуж, и делается совсем другая, как будто она боится чего-то, когда мужчина говорит с ней. Любочка вечно негодует на Мими за то, что ее так стягивают корсетами, что «дышать нельзя», и любит покушать; Катенька, напротив, часто, поддевая палец под мыс своего платья, показывает нам, как оно ей широко, и ест чрезвычайно мало. Любочка любит рисовать головки; Катенька же рисует только цветы и бабочек. Любочка играет очень отчетливо фильдовские концерты, некоторые сонаты Бетховена; Катенька играет варьяции и вальсы, задерживает темп, стучит, беспрестанно берет педаль и прежде, чем начинать играть что-нибудь, с чувством берет три аккорда *arpeggio*<sup>33</sup>....

Но Катенька, по моему тогдашнему мнению, больше похожа на большую, и поэтому гораздо больше мне нравится.

---

<sup>33</sup> [Арпеджо – звуки аккорда, следующие один за другим.]

## ГЛАВА XXII. ПАПА.

Папа особенно весел с тех пор, как Володя поступил в университет, и чаще обыкновенного приходит обедать к бабушке. Впрочем, причина его веселья, как я узнал от Николая, состоит в том, что он в последнее время выиграл чрезвычайно много. Случается даже, что он вечером, перед клубом, заходит к нам, садится за фортепьяно, собирает нас вокруг себя и, притоптывая своими мягкими сапогами (он терпеть не может каблучков и никогда не носит их), поет цыганские песни. И надобно тогда видеть смешной восторг его любимицы Любочки, которая с своей стороны обожает его. Иногда он приходит в классы и с строгим лицом слушает, как я сказываю уроки, но по некоторым словам, которыми он хочет поправить меня, я замечаю, что он плохо знает то, чему меня учат. Иногда он потихоньку мигает и делает нам знаки, когда бабушка начинает ворчать и сердиться на всех без причины. «Ну, досталось же *нам*, дети», говорит он потом. Вообще он понемногу спускается в моих главах с той недосягаемой высоты, на которую его ставило детское воображение. Я с тем же искренним чувством любви и уважения целую его большую белую руку, но уже позволяю себе думать о нем, обсуживать его поступки, и мне невольно приходят о нем такие мысли, присутствие которых пугает меня. Никогда не забуду я случая, внушившего мне много таких мыслей и доставившего мне много моральных страданий.

Один раз, поздно вечером, он, в черном фраке и белом жилете, вошел в гостиную с тем, чтобы взять с собой на бал Володю, который в это время одевался в своей комнате. Бабушка в спальне дожидалась, чтобы Володя пришел показаться ей (она имела привычку перед каждым балом призывать его к себе, благословлять, осматривать и давать наставления). В зале, освещенной только одной лампой, Мими с Катенькой ходила взад и вперед, а Любочка сидела за роялем и твердила второй концерт Фильда, любимую пьесу тамапа.

Никогда ни в ком не встречал я такого фамильного сходства, как между сестрой и матушкой. Сходство это заключалось не в лице, не в сложении, но в чем-то неуловимом: в руках, в манере ходить, в особенности в голосе и в некоторых выражениях. Когда Любочка сердилась и говорила: «целый век не пускают», это слово *целый век*, которое имела тоже привычку говорить тамап, она выговаривала так, что, казалось, слышал ее, как-то протяжно: це-е-лый век; но необыкновеннее всего было это сходство в игре ее на фортепьяно и во всех приемах при этом: она так же оправляла платье, так же поворачивала листы левой рукой сверху, так же с досады кулаком била по клавишам, когда долго не удавался трудный пассаж, и говорила: «ах, Бог мой!», и та же неуловимая нежность и отчетливость игры, той прекрасной фильдовской игры, так хорошо названной *jeu perlé*,<sup>34</sup> прелести которой не могли заставить забыть все фокусы новейших пьянистов.

Папа вошел в комнату скорыми маленькими шажками и подошел к Любочке, которая перестала играть, увидев его.

– Нет, играй, Люба, играй, – сказал он, усаживая ее: – ты знаешь, как я люблю тебя слушать....

Любочка продолжала играть, а папа долго, облокотившись на руку, сидел против нее; потом, быстро подернув плечом, он встал и стал ходить по комнате. Подходя к роялю, он всякий раз останавливался и долго пристально смотрел на Любочку. По движениям и походке его я замечал, что он был в волнении. Пройдя несколько раз по зале, он, остановившись за стулом Любочки, поцаловал ее в черную голову и потом, быстро поворотившись опять, продолжал

---

<sup>34</sup> [бисерной игрой,]

свою прогулку. Когда, окончив пьесу, Любочка подошла к нему с вопросом: «хорошо ли?», он молча взял ее за голову и стал целовать в лоб и глаза с такою нежностью, какой я никогда не видывал от него.

– Ах, Бог мой! ты плачешь! – вдруг сказала Любочка, выпуская из рук цепочку его часов и уставляя на его лицо свои большие удивленные глаза. – Прости меня, голубчик папа, я совсем забыла, что это *мамашина пьеса*.

– Нет, друг мой, играй почаще, – сказал он дрожащим от волнения голосом: – коли бы ты знала, как мне хорошо поплакать с тобой...

Он еще раз поцаловал ее и, стараясь пересилить внутреннее волнение, подергивая плечом, вышел в дверь, ведущую через коридор в комнату Володи.

– Вольдемар! скоро ли ты? – крикнул он, останавливаясь посреди коридора. В это самое время мимо него проходила горничная Маша, которая, увидав барина, потупилась и хотела обойти его. Он остановил ее. «А ты всё хорошеешь», сказал он, наклонясь к ней.

Маша покраснела и еще более опустила голову. «Позвольте», – прошептала она.

– Вольдемар, что ж, скоро ли? – повторил папа, подергиваясь и покашливая, когда Маша прошла мимо, и он увидал меня...

Я люблю отца, но ум человека живет независимо от сердца и часто вмещает в себя мысли, оскорбляющие чувство, непонятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить их, приходят мне....

## ГЛАВА XXIII. БАБУШКА.

Бабушка со дня на день становится слабее; ее колокольчик, голос ворчливой Гаши и хлопанье дверями чаще слышатся в ее комнате, и она принимает нас уже не в кабинете, в вольтеровском кресле, а в спальне, в высокой постели с подушками, обшитыми кружевами. Здороваясь с нею, я замечаю на ее руке бледно-желтоватую глянцевою опухоль, а в комнате тяжелый запах, который, пять лет тому назад, слышал в комнате матушки. Доктор три раза в день бывает у нее, и было уже несколько консультаций. Но характер, гордое и церемонное обращение ее со всеми домашними, а в особенности с папа, нисколько не изменились; она точно так же растягивает слова, поднимает брови и говорит: «мой милый».

Но вот несколько дней нас уже не пускают к ней, и раз утром St.-Jérôme, во время классов, предлагает мне ехать кататься с Любочкой и Катенькой. Несмотря на то, что, садясь в сани, я замечаю, что перед бабушкиными окнами улица устлана соломой, и что какие-то люди в синих чуйках стоят около наших ворот, я никак не могу понять, для чего нас посылают кататься в такой неурочный час. В этот день, во всё время катанья, мы с Любочкой находимся почему-то в том особенно веселом расположении духа, в котором каждый простой случай, каждое слово, каждое движение заставляют смеяться.

Разносчик, схватившись за лоток, рысью перебегает через дорогу, и мы смеемся. Оборванный Ванька галопом, помахивая концами вожжей, догоняет наши сани, и мы хохочем. У Филиппа зацепился кнут за полоз саней; он, оборачиваясь, говорит: «эх-ма», и мы помираем со смеху. Мими с недовольным видом говорит, что только *глупые* смеются без причины, и Любочка, вся красная от напряжения сдержанного смеха, исподлобья смотрит на меня. Глаза наши встречаются, и мы заливаемся таким гомерическим хохотом, что у нас на глазах слезы, и мы не в состоянии удержать порывов смеха, который душит нас. Только-что мы немного успокоиваемся, я взглядываю на Любочку и говорю заветное словечко, которое у нас в моде с некоторого времени и которое уже всегда производит смех, и снова мы заливаемся.

Подъезжая назад к дому, я только открываю рот, чтоб сделать Любочке одну прекрасную гримасу, как глаза мои поражает черная крышка гроба, прислоненная к половинке двери нашего подъезда, и рот мой остается в том же искривленном положении.

– *Votre grande-mère est morte!*<sup>35</sup> – говорит St.-Jérôme с бледным лицом, выходя нам навстречу.

Всё время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, т. е. мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью. Я не жалею о бабушке, да едва ли кто-нибудь искренно жалеет о ней. Несмотря на то, что дом полон траурных посетителей, никто не жалеет о ее смерти, исключая одного лица, которого неистовая горесть невыразимо поражает меня. И лицо это – горничная Гаши. Она уходит на чердак, запирается там, не переставая плачет, проклиная самое себя, рвет на себе волосы, не хочет слышать никаких советов и говорит, что смерть для нее остается единственным утешением после потери любимой госпожи.

Опять повторяю, что неправдоподобность в деле чувства есть вернейший признак истины.

Бабушки уже нет, но еще в нашем доме живут воспоминания и различные толки о ней. Толки эти преимущественно относятся до завещания, которое она сделала перед кончиной, и

<sup>35</sup> [Ваша бабушка умерла!]

которого никто не знает, исключая ее душеприказчика, князя Ивана Ивановича. Между бабушкиными людьми я замечаю некоторое волнение, часто слышу толки о том, кто кому достанется, и, признаюсь, невольно и с радостью думаю о том, что мы получаем наследство.

После шести недель, Николай, всегдашняя газета новостей нашего дома, рассказывает мне, что бабушка оставила всё имение Любочке, поручив до ее замужества опеку не папа, а князю Ивану Ивановичу.

## ГЛАВА XXIV. Я.

До поступления в университет мне остается уже только несколько месяцев. Я учусь хорошо. Не только без страха ожидаю учителей, но даже чувствую некоторое удовольствие в классе.

Мне весело – ясно и отчетливо сказать выученный урок. Я готовлюсь в математический факультет, и выбор этот, по правде сказать, сделан мной единственно потому, что слова: синусы, тангенсы, дифференциалы, интегралы и т. д. чрезвычайно нравятся мне.

Я гораздо ниже ростом Володи, широкоплеч и мясист, по-прежнему дурен и попрежнему мучусь этим. Я стараюсь казаться оригиналом. Одно утешает меня: это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня *умная рожа*, и я вполне верю в это.

St.-Jérôme доволен мною, хвалит меня, и я не только не ненавижу его, но, когда он иногда говорит, что с *моими способностями, с моим умом* стыдно не сделать того-то и того-то, мне кажется даже, что я люблю его.

Наблюдения мои в девичьей давно уже прекратились, мне совестно прятаться за двери, да притом и убеждение в любви Маши к Василью, признаюсь, несколько охладило меня. Окончательно же исцеляет меня от этой несчастной страсти женитьба Василья, для которой я сам, по просьбе его, испрашиваю у папа позволения.

Когда *молодые*, с конфетами на подносе, приходят к папа благодарить его, и Маша, в чепчике с голубыми лентами, тоже за что-то благодарит всех нас, цалуя каждого в плечико, я чувствую только запах розовой помады от ее волос, но ни малейшего волнения.

Вообще, я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни, – склонности к умствованию.

## ГЛАВА XXV. ПРИЯТЕЛИ ВОЛОДИ.

Хотя в обществе знакомых Володи я играл роль, оскорблявшую мое самолюбие, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, и молча наблюдать всё, что там делалось. Чаще других приходили к Володе адъютант Дубков и студент князь Нехлюдов. Дубков был маленький, жилистый брюнет, уже не первой молодости и немного коротконожка, но недурен собой и всегда весел. Он был один из тех ограниченных людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бывают односторонни и ошибочны, но всегда чистосердечны и увлекательны. Даже узкий эгоизм их кажется почему-то простительным и милым. Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть – воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать понятие порядочности (*comme il faut*), очень высоко ценимую в эти года. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что называют «*un homme comme il faut*». Одно, что было мне неприятно – это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним за мои самые невинные поступки, а всего более за мою молодость.

Нехлюдов был нехорош собой: маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб, непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы красивыми чертами. Хорошего было в нем только – необыкновенно высокий рост, нежный цвет лица и прекрасные зубы. Но лицо это получало такой оригинальный и энергический характер от узких, блестящих глаз и переменчивого, то строгого, то детски-неопределенного выражения улыбки, что нельзя было не заметить его.

Он, казалось, был очень стыдлив, потому что каждая малость заставляла его краснеть до самых ушей; но застенчивость его не походила на мою. Чем больше он краснел, тем больше лицо его выражало решимость. Как будто он сердился на самого себя за свою слабость.

Несмотря на то, что он казался очень дружным с Дубковым и Володей, заметно было, что только случай соединил его с ними. Направления их были совершенно различны: Володя и Дубков как будто боялись всего, что было похоже на серьезные рассуждения и чувствительность; Нехлюдов, напротив, был энтузиаст в высшей степени и часто, несмотря на насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах. Володя и Дубков любили говорить о предметах своей любви (и бывали влюблены вдруг в нескольких и оба в одних и тех же); Нехлюдов, напротив, всегда серьезно сердился, когда ему намекали на его любовь к какой-то *рыженькой*.

Володя и Дубков часто позволяли себе, любя, подтрунивать над своими родными, Нехлюдова, напротив, можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тетку, к которой он чувствовал какое-то восторженное обожание. Володя и Дубков после ужина ездили куда-то без Нехлюдова и называли его *красной девушкой*....

Князь Нехлюдов поразил меня с первого раза, как своим разговором, так и наружностью. Но несмотря на то, что в его направлении я находил много общего с своим – или, может быть, именно поэтому, – чувство, которое он внушил мне, когда я в первый раз увидел его, было далеко не приятное.

Мне не нравились его быстрый взгляд, твердый голос, гордый вид, но более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто, во время разговора, мне ужасно хотелось противоречить ему; в наказание за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что я умен, несмотря на то, что он не хочет обращать на меня никакого внимания. Стыдливость удерживала меня.

## ГЛАВА XXVI. РАССУЖДЕНИЯ.

Володя лежал с ногами на диване и, облокотившись на руку, читал какой-то французский роман, когда я, после вечерних классов, по своему обыкновению, вошел к нему в комнату. Он на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на меня, и снова принялся за чтение – движение самое простое и естественное, но которое заставило меня покраснеть. Мне показалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста. Я подошел к столу и тоже взял книгу; но, прежде чем начал читать ее, мне пришло в голову, что как-то смешно, что мы, не выдавшись целый день, ничего не говорим друг другу.

– Что, ты дома будешь нынче вечером?

– Не знаю, а что?

– Так, – сказал я и, замечая, что разговор не клеится, взял книгу и начал читать.

Странно, что с глазу на глаз мы по целым часам проводили молча с Володей, но достаточно было только присутствия даже молчаливого третьего лица, чтобы между нами завязывались самые интересные и разнообразные разговоры. Мы чувствовали, что слишком хорошо знаем друг друга. А слишком много или слишком мало знать друг друга одинаково мешает сближению.

– Володя дома? – послышался в передней голос Дубкова.

– Дома, – сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол.

Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах вошли в комнату.

– Что ж, едем в театр, Володя?

– Нет, мне некогда, – отвечал Володя, краснея.

– Ну, вот еще! – поедem пожалуйста.

– Да у меня и билета нет.

– Билетов сколько хочешь у входа.

– Погоди, я сейчас приду, – уклончиво отвечал Володя и, подергивая плечом, вышел из комнаты.

Я знал, что Володе очень хотелось ехать в театр, куда его звал Дубков; что он отказывался потому только, что у него не было денег, и что он вышел за тем, чтобы у дворецкого достать взаймы пять рублей до будущего жалованья.

– Здравствуйте, *дипломат!* – сказал Дубков, подавая мне руку.

Приятели Володи называли меня *дипломатом*, потому что раз, после обеда у покойницы бабушки, она как-то при них, разговорившись о нашей будущности, сказала, что Володя будет военный, а что меня она надеется видеть *дипломатом*, в черном фраке и с прической à la соq, составлявшей, по ее мнению, необходимое условие дипломатического звания.

– Куда это ушел Володя? – спросил меня Нехлюдов.

– Не знаю, – отвечал я, краснея при мысли, что они верно догадываются, зачем вышел Володя.

– Верно у него денег нет! правда? О! *дипломат!* – прибавил он утвердительно, объясняя мою улыбку. – У меня тоже нет денег, а у тебя есть, Дубков?

– Посмотрим, – сказал Дубков, доставая кошелек и ощупывая в нем весьма тщательно несколько мелких монет своими коротенькими пальцами. – Вот пятачок, вот двугривенник, а то ффффю! – сказал он, делая комический жест рукою.

В это время Володя вошел в комнату.

– Ну что, едем?

– Нет.

– Как ты смешон! – сказал Нехлюдов: – отчего ты не скажешь, что у тебя нет денег. Возьми мой билет, коли хочешь.

– А ты как же?

– Он поедет к кузинам в ложу, – сказал Дубков.

– Нет, я совсем не поеду

– Отчего?

– Оттого, что, ты знаешь, я не люблю сидеть в ложе.

– Отчего?

– Не люблю, мне неловко.

– Опять старое! не понимаю, отчего тебе может быть неловко там, где все тебе очень рады. Это смешно, *mon cher*.<sup>36</sup>

– Что ж делать, *si je suis timide!*<sup>37</sup> Я уверен, ты в жизни своей никогда не краснел, а я всякую минуту от малейших пустяков! – сказал он, краснея в это же время.

– *Savez vous, d'où vient votre timidité?.. d'un excès d'amour propre, mon cher,*<sup>38</sup> – сказал Дубков покровительственным тоном.

– Какой тут *excès d'amour propre!* – отвечал Нехлюдов, задетый за живое. – Напротив, я стыдлив оттого, что у меня слишком мало *amour propre*; мне всё кажется, напротив, что со мной неприятно, скучно.... от этого....

– Одевайся же, Володя! – сказал Дубков, схватывая его за плечи и снимая с него сюртук. – Игнат, одеваться барину!

– От этого со мной часто бывает.... – продолжал Нехлюдов.

Но Дубков уже не слушал его. «Трала-ла та-ра-ра-ла-ла», запел он какой-то мотив.

– Ты не отделался, – сказал Нехлюдов: – я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия

– Докажешь, ежели поедешь с нами.

– Я сказал, что не поеду.

– Ну, так оставайся тут и доказывай *дипломату*; а мы приедем, он нам расскажет.

– И докажу, – возразил Нехлюдов с детским своенравием: – только приезжайте скорей.

– Как вы думаете: я самолюбив? – сказал он, подсаживаясь ко мне.

Несмотря на то, что у меня на этот счет было составленное мнение, я так оробел от этого неожиданного обращения, что нескоро мог ответить ему.

– Я думаю, что да, – сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит, и краска покрывает лицо при мысли, что пришло время доказать ему, что я *умный*: – я думаю, что всякий человек самолюбив, и всё то, что ни делает человек – всё из самолюбия.

– Так что же, по вашему, самолюбие? – сказал Нехлюдов, улыбаясь несколько презрительно, как мне показалось.

– Самолюбие, – сказал я: – есть убеждение в том, что я лучше и умнее всех людей.

– Да как же могут быть все в этом убеждены?

– Уж я не знаю, справедливо ли или нет, только никто кроме меня не признается; я убежден, что я умнее всех на свете и уверен, что вы тоже уверены в этом.

– Нет, я про себя первого скажу, что я встречал людей, которых признавал умнее себя, – сказал Нехлюдов.

– Не может быть, – отвечал я с убеждением.

---

<sup>36</sup> [дорогой мой.]

<sup>37</sup> [если я застенчив!]

<sup>38</sup> [Знаете вы, отчего происходит ваша застенчивость?.. от избытка самолюбия, мой дорогой.]

– Неужели вы в самом деле так думаете? – сказал Нехлюдов, пристально вглядываясь в меня.

– Seriously, – отвечал я.

И тут мне вдруг пришла мысль, которую я тотчас же высказал.

– Я вам это докажу. Отчего мы самих себя любим больше других?... Оттого, что мы считаем себя лучше других, более достойными любви. Ежели бы мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их больше себя, а этого никогда не бывает. Ежели и бывает, то всё-таки я прав, – прибавил я с невольной улыбкой самодовольствия.

Нехлюдов помолчал с минуту.

– Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны! – сказал он мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, что я чрезвычайно счастлив.

Похвала так могущественно действует не только на чувство, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову. С самолюбия мы незаметно перешли к любви, и на эту тему разговор казался неистощимым. Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совершенной бессмыслицею – так они были неясны и односторонни – для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу.

## ГЛАВА XXVII. НАЧАЛО ДРУЖБЫ.

С той поры, между мной и Дмитрием Нехлюдовым установились довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания; но как только случалось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая всё и не замечая, как летит время.

Мы толковали и о будущей жизни, и об искусствах, и о службе, и о женитьбе, и о воспитании детей, и никогда нам в голову не приходило, что всё то, что мы говорили, был ужаснейший вздор. Это не приходило нам в голову потому, что вздор, который мы говорили, был умный и милый вздор; а в молодости еще. ценишь ум, веришь в него. В молодости все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастья, что одни понятые и разделенные мечты о будущем счастья составляют уже истинное счастье этого возраста. В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь всё более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь всё выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее.

Как-то раз, во время масленицы, Нехлюдов был так занят разными удовольствиями, что хотя несколько раз на день заезжал к нам, но ни разу не поговорил со мной, и меня это так оскорбило, что снова он мне показался гордым и неприятным человеком. Я ждал только случая, чтобы показать ему, что несколько не дорожу его обществом и не имею к нему никакой особенной привязанности.

В первый раз, как он после масленицы снова хотел поговориться со мной, я сказал, что мне нужно готовить уроки, и ушел наверх; но через четверть часа кто-то отворил дверь в классную, и Нехлюдов подошел ко мне.

– Я вам мешаю? – сказал он

– Нет, – отвечал я, несмотря на то, что хотел сказать, что у меня действительно есть дело.

– Так отчего же вы ушли от Володи? Ведь мы давно с вами не рассуждали. А уж я так привык, что мне как будто чего-то недостает.

Досада моя прошла в одну минуту, и Дмитрий снова стал в моих глазах тем же добрым и милым человеком.

– Вы, верно, знаете, отчего я ушел? – сказал я.

– Может быть, – отвечал он, усаживаясь подле меня: – но ежели я и догадываюсь, то не могу сказать, отчего, а вы так можете, – сказал он.

– Я и скажу: я ушел потому, что был сердит на вас... не сердит, а мне досадно было. Просто: я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я еще очень молод.

– Знаете, отчего мы так сошлись с вами, – сказал он, добродушным и умным взглядом отвечая на мое признание: – отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком, и с которыми у меня больше общего? Я сейчас решил это. У вас есть удивительное, редкое качество – откровенность.

– Да, я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться, – подтвердил я: – но только тем, в ком я уверен.

– Да, но чтобы быть уверенным в человеке, надо быть с ним совершенно дружным, а мы с вами не дружны еще, Nicolas; помните, мы говорили о дружбе: чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге.

– Быть уверенным в том, что ту вещь, которую я скажу вам, уже вы никому не скажете, – сказал я. – А ведь самые важные, интересные мысли именно те, которые мы ни за что не скажем друг другу.

– И какие гадкие мысли! такие подлые мысли, что ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову.

– Знаете, какая пришла мне мысль, Nicolas, – прибавил он, вставая со стула и с улыбкой потирая руки. – *Сделаемте* это, и вы увидите, как это будет полезно для нас обоих: дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно; а для того, чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово *никогда ни с кем и ничего* не говорить друг о друге. Сделаем это.

– Давайте, – сказал я.

И мы действительно *сделали это*. Что вышло из этого, я расскажу после.

Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет любить себя, одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо; и в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щеку; но и он готов был целовать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и ценили друг друга; но это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему.

Само собою разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить всё человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские казалось удобоисполнимой вещью, – очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым...

А впрочем, Бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились?...

## ЮНОСТЬ (1855—1856)

### ГЛАВА I. ЧТО Я СЧИТАЮ НАЧАЛОМ ЮНОСТИ.

Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию, и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной, деятельной будущности; но жизнь моя шла всё тем же мелочным, запутанным и праздным порядком.

Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, *чудесным Митей*, как я сам с собою шопотом иногда называл его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им.

И с этого времени я считаю начало *юности*.

Мне был в то время шестнадцатый год в исходе. Учителя продолжали ходить ко мне, St.-Jérôme присматривал за моим учением, и я поневоле и неохотно готовился к университету. Вне учения занятия мои состояли: в уединенных, бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем, чтобы сделаться первым силачем в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам и особенно коридору девичьей и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже отвращения. Наружность моя, я убеждался, не только была некрасива, но я не мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего не было, – самые обыкновенные, грубые и дурные черты; глаза маленькие, серые, особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были скорее глупые, чем умные. Мужественного было еще меньше: несмотря на то, что я был не мал ростом и очень силен по летам, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было; напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и такие же большие ноги и руки; а это в то время мне казалось очень стыдно

## ГЛАВА II. ВЕСНА.

В тот год, как я вступил в университет, Святая была как-то поздно в апреле, так что экзамены были назначены на Фоминой, а на Страстной я должен был и говеть и уже окончательно приготавливаться.

Погода после мокрого снега, который бывало Карл Иванович называл «сын за отцом пришел», уже дня три стояла тихая, теплая и ясная. На улицах не видно было клочка снега, грязное тесто заменилось мокрой, блестящей мостовой и быстрыми ручьями. С крыш уже на солнце стаивали последние капли, в палисаднике на деревьях надувались почки, на дворе была сухая дорожка, к конюшне мимо замерзлой кучи навоза и около крыльца между камнями зеленелась мшистая травка. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека: яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными, прозрачными тучками. Не знаю почему, но мне кажется, что в большом городе еще ощутительнее и сильнее на душу влияние этого первого периода рождения весны, – меньше видишь, но больше предчувствуешь. Я стоял около окна, в которое утреннее солнце сквозь двойные рамы бросало пыльные лучи на пол моей невыносимо надоевшей мне классной комнаты, и решал на черной доске какое-то длинное алгебраическое уравнение. В одной руке я держал изорванную мягкую «Алгебру» Франкера, в другой – маленький кусок мела, которым испачкал уже обе руки, лицо и локти полуфрачка. Николай в фартуке, с засученными рукавами, отбивал клещами замазку и отгибал гвозди окна, которое отворялось в палисадник. Его занятие и стук, который он производил, развлекали мое внимание. Притом я был в весьма дурном, недовольном расположении духа. Всё как-то мне не удавалось: я сделал ошибку в начале вычисления, так что надо было всё начинать сначала, мел я два раза уронил, чувствовал, что лицо и руки мои испачканы, губка где-то пропала, стук, который производил Николай, как-то больно потрясал мои нервы. Мне хотелось рассердиться и поворчать, я бросил мел, Алгебру и стал ходить по комнате. Но мне вспомнилось, что нынче Страстная середина, нынче мы должны исповедываться, и что надо удерживаться от всего дурного; и вдруг я пришел в какое-то особенное, кроткое состояние духа и подошел к Николаю.

– Позволь, я тебе помогу, Николай, – сказал я, стараясь дать своему голосу самое кроткое выражение; и мысль, что я поступаю хорошо, подавив свою досаду и помогая ему, еще более усилила во мне это кроткое настроение духа.

Замазка была отбита, гвозди отогнуты; но несмотря на то, что Николай из всех сил дергал за перекладины, рама не подавалась.

«Если рама выйдет теперь сразу, когда я потяну с ним, – подумал я, – значит грех, и не надо нынче больше заниматься». Рама подалась на бок и вышла.

– Куда отнести ее? – сказал я.

– Позвольте, я сам управлюсь, – отвечал Николай, видимо удивленный и, кажется, недовольный моим усердием: – надо не спутать, а то там, в чулане, они у меня по номерам.

– Я замечу ее, – сказал я, поднимая раму.

Мне кажется, что если бы чулан был версты за две, и рама весила бы вдвое больше, я был бы очень доволен. Мне хотелось измучиться, оказывая эту услугу Николаю. Когда я вернулся в комнату, кирпичики и соляные пирамидки были уже переложены на подоконник, и Николай крылышком сметал песок и сонных мух в растворенное окно. Свежий пахучий воздух уже проник в комнату и наполнял ее. Из окна слышался городской шум и чиликанье воробьев в палисаднике.

Все предметы были освещены ярко, комната повеселела, легкий весенний ветерок шевелил листья моей Алгебры и волосы на голове Николая. Я подошел к окну, сел на него, перегнулся в палисадник и задумался.

Какое-то новое для меня, чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу. Мокрая земля, по которой кое-где выбивали ярко-зеленые иглы травы, с желтыми стебельками, блестящие на солнце ручьи, по которым вились кусочки земли и щепки, покрасневшиеся прутья сирени с вспухлыми почками, качавшимися под самым окошком, хлопотливое чиликанье птичек, копошившихся в этом кусте, мокрый от таявшего на нем снега черноватый забор, а главное – этот пахучий сырой воздух и радостное солнце – говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и прекрасном, которое, хотя я не могу передать так, как оно сказывалось мне, я постараюсь передать так, как я воспринимал его, – всё мне говорило про красоту, счастье и добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и даже что красота, счастье и добродетель – одно и то же. «Как мог я не понимать этого, как дурачок я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем!» говорил я сам себе: – «надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе». Несмотря на это, я однако долго еще сидел на окне, мечтая и ничего не делая. Случалось ли вам летом лечь спать днем в пасмурную дождливую погоду и, проснувшись на закате солнца, открыть глаза и в расширяющемся четырехугольнике окна, из-под полотняной шторы, которая, надувшись, бьется прутком об подоконник, увидеть мокрую от дождя, тенистую лиловатую сторону липовой аллеи и сырую садовую дорожку, освещенную яркими косыми лучами, услышать вдруг веселую жизнь птиц в саду и увидеть насекомых, которые вьются в отверстиях окна, просвечивая на солнце, почувствовать запах последождя воздуха и подумать: «как мне не стыдно было проспаться такой вечер», и торопливо вскочить, чтобы идти в сад порадоваться жизнью? Если случалось, то вот образчик того сильного чувства, которое я испытывал в это время.

## ГЛАВА III. МЕЧТЫ.

«Нынче я исповедаюсь, очищаюсь от всех грехов», думал я: «и больше уж никогда не буду.... (тут я припомнил все грехи, которые больше всего мучили меня). Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь, и еще после целый час читать евангелие, потом из *беленькой*, которую я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно два с полтиной (одну десятую) я буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал: и не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает.

«У меня будет особенная комната (верно St.-Jérôme'ова), и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте; человека же ничего для себя не буду заставлять делать. Ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком (а ежели мне дадут дрожки, то продам их и деньги эти отложу тоже на бедных) и в точности буду исполнять всё (что было это «всё», я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это «всё» разумной, нравственной, безупречной жизни). Буду составлять лекции и даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию; на втором курсе уже вперед буду знать всё, и меня могут перевести прямо в третий курс, так что я восемнадцати лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями, потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России... даже в Европе я могу быть первым ученым». Ну, а потом? – спрашивал я сам себя, – но тут я припомнил, что эти мечты – гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений. «Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьевы горы; выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции; иногда возьму с собой что-нибудь закусить: сыру или пирожок от Педотти, или что-нибудь. Отдохну и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу, или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте (непременно выучусь играть на флейте). Потом *она* тоже будет ходить гулять на Воробьевы горы и когда-нибудь подойдет ко мне и спросит: кто я такой? Я посмотрю на нее этак печально и скажу, что я сын священника одного и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один одишешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее... Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо; а через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно. – Буду делать нарочно движенья как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильнее Раппо. Первый день буду держать по полпуда «вытянутой рукой» пять минут, на другой день двадцать один фунт, на третий день двадцать два фунта и так далее, так что наконец по четыре пуда в каждой руке, и так, что буду сильнее всех в дворне; и когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно об *ней*, я возьму его так, просто, за грудь, подниму аршина на два от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю; но, впрочем, и это нехорошо; – нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я...»

Да не упрекнул меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости, и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг делается министром по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег. Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишённого этой благодетельной, утешительной способности мечтания. Но, исключая общей черты невоз-

мощности – волшебности мечтаний, мечтания каждого человека и каждого возраста имеют свой отличительный характер. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства: любовь к *ней*, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Эта *она* была немножко Сонечка, немножко Маша, жена Василия, в то время, как она моет белье в корыте, и немножко женщина с жемчугами на белой шее, которую я видел очень давно в театре, в ложе подле нас. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя: Николай Иртеньев, и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было – надежда на необыкновенное, тщеславное счастье, – такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебного-счастливого. Я всё ждал, что вот *начнется*, и я достигну всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже *начинается* там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть всё, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего, и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий. Благой, отрадный голос, столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем, – благой, отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?

## ГЛАВА IV. НАШ СЕМЕЙНЫЙ КРУЖОК.

Папа эту весну редко бывал дома. Но зато, когда это случалось, он бывал чрезвычайно весел, брэнчал на фортепьянах свои любимые штучки, делал сладенькие глазки и выдумывал про всех нас и Мими шуточки, в роде того, что грузинский царевич видел Мими на катаньи и так влюбился, что подал прошение в Синод об разводной, что меня назначают помощником к венскому посланнику, – и с серьезным лицом сообщал нам эти новости; пугал Катеньку пауками, которых она боялась; был очень ласков с нашими приятелями Дубковым и Нехлюдовым, и беспрестанно рассказывал нам и гостям свои планы на будущий год. Несмотря на то, что планы эти почти каждый день изменялись и противоречили один другому, они были так увлекательны, что мы их заслушивались, и Любочка, не смигивая, смотрела прямо на рот папа, чтобы не проронить ни одного слова. То план состоял в том, чтобы нас оставить в Москве в университете, а самому с Любочкой ехать на два года в Италию, то в том, чтоб купить имение в Крыму, на южном берегу, и ездить туда каждое лето, то в том, чтобы переехать в Петербург со всем семейством, и т. п. Но, кроме особенного веселья, в папа последнее время произошла еще перемена, очень удивлявшая меня. Он сшил себе модное платье – оливковый фрак, модные панталоны со штрипками и длинную бекешу, которая очень шла к нему, и часто от него прекрасно пахло духами, когда он ездил в гости, и особенно к одной даме, про которую Мими не говорила иначе, как со вздохом и с таким лицом, на котором так и читаешь слова: «бедные сироты! Несчастливая страсть! Хорошо, что *ее* уж нет» и т. п. Я узнал от Николая, потому что папа ничего не рассказывал нам про свои игорные дела, что он играл особенно счастливо эту зиму; выиграл что-то ужасно много, положил деньги в ломбард и весной не хотел больше играть. Верно от этого, боясь не удержаться, ему так хотелось поскорее уехать в деревню. Он даже решил, не дожидаясь моего вступления в университет, тотчас после Пасхи ехать с девочками в Петровское, куда мы с Володей должны были приехать после.

Володя всю эту зиму и до самой весны был неразлучен с Дубковым (с Дмитрием же они начинали холодно расходиться). Главные их удовольствия, сколько я мог заключить по разговорам, которые слышал, постоянно заключались в том, что они беспрестанно пили шампанское, ездили в санях под окна барышни, в которую, как кажется, влюблены были вместе, и танцевали визави уже не на детских, а на настоящих балах. Это последнее обстоятельство, несмотря на то, что мы с Володей любили друг друга, очень много разъединило нас. Мы чувствовали слишком большую разницу – между мальчиком, к которому ходят учителя, и человеком, который танцует на больших балах, – чтобы решиться сообщать друг другу свои мысли. Катенька была уже совсем большая, читала очень много романов, и мысль, что она скоро может выйти замуж, уже не казалась мне шуткой; но, несмотря на то, что и Володя был большой, они не сходились с ним и даже, кажется, взаимно презирали друг друга. Вообще, когда Катенька бывала одна дома, ничто, кроме романов, ее не занимало, и она большей частью скучала; когда же бывали посторонние мужчины, то она становилась очень жива и любезна и делала глазами то, что уже я понять никак не мог, что она этим хотела выразить. Потом только, услышав в разговоре от нее, что одно позволительное для девицы кокетство, это – кокетство глаз, я мог объяснить себе эти странные неестественные гримасы глазами, которые других, кажется, вовсе не удивляли. Любочка тоже уже начинала носить почти длинное платье, так что ее гусиные ноги были почти не видны, но она была такая же плакса, как и прежде. Теперь она мечтала уже выйти замуж не за гусара, а за певца или музыканта и с этой целью усердно занималась музыкой. St.-Jérôme, который, зная, что остается у нас в доме только до окончания моих экзаменов, приискал себе место у какого-то графа, с тех пор как-то презрительно смотрел на наших домашних. Он редко бывал дома, стал курить папиросы, которые были тогда большим щегольством, и беспрестанно

свистал через карточку какие-то веселенькие мотивы. Мими становилась с каждым днем всё огорченнее и огорченнее и, казалось, с тех пор, как мы все начинали вырастать большими, ни от кого и ни от чего не ожидала ничего хорошего.

Когда я пришел обедать, я застал в столовой только Мими, Катеньку, Любочку и St.-Jérôme'a; папа не был дома, а Володя готовился к экзамену с товарищами в своей комнате и потребовал обед к себе. Вообще это последнее время большей частью первое место за столом занимала Мими, которую мы никто не уважали, и обед много потерял своей прелести. Обед уже не был, как при татап или бабушке, каким-то обрядом, соединяющим в известный час всё семейство и разделяющим день на две половины. Мы позволяли себе опаздывать, приходиться ко второму блюду, пить вино в стаканах (чему подавал пример сам St.-Jérôme), разваливаться на стуле, вставать не дообедав и тому подобные вольности. С тех пор обед перестал быть, как прежде, ежедневным семейным радостным торжеством. То ли дело бывало в Петровском, когда в два часа все, умытые, одетые к обеду, сидят в гостиной и, весело разговаривая, ждут условленного часа. Именно в то самое время, как хрипят часы в официантской, чтоб бить два, с салфеткой на руке, с достойным и несколько строгим лицом, тихими шагами входит Фока. «Кушанье готово!» провозглашает он громким, протяжным голосом, и все с веселыми, довольными лицами, старшие впереди, младшие сзади, шумя крахмаленными юбками и поскрипывая сапогами и башмаками, идут в столовую и, негромко переговариваясь, рассаживаются на известные места. Или, то ли дело бывало в Москве, когда все, тихо переговариваясь, стоят перед накрытым столом в зале, дожидаясь бабушки, которой Гаврило уже прошел доложить, что кушанье поставлено, – вдруг отворяется дверь, слышен шорох платья, шарканье ног, и бабушка в чепце, с каким-нибудь необыкновенным лиловым бантом, бочком, улыбаясь или мрачно косясь (смотря по состоянию здоровья), выплывает из своей комнаты. Гаврило бросается к ее креслу, стулья шумят, и, чувствуя, как по спине пробегает какой-то холод – предвестник аппетита, берешься за сыроватую крахмаленную салфетку, съедаешь корочку хлеба и с нетерпеливой и радостной жадностью, потирая под столом руки, поглядываешь на дымящие тарелки супа, которые по чинам, годам и вниманию бабушки разливают дворецкий.

Теперь я уже не испытывал никакой ни радости, ни волнения, приходя к обеду.

Болтовня Мими, St.-Jérôme'a и девочек о том, какие ужасные сапоги носит русский учитель, как у княжен Корнаковых платья с воланами и т.д., – болтовня их, прежде внушавшая мне искреннее презрение, которое я, особенно в отношении Любочки и Катеньки не старался скрывать, не вывела меня из моего нового добродетельного расположения духа. Я был необыкновенно кроток; улыбаясь, слушал их особенно ласково, почтительно просил передать мне квасу и согласился с St.-Jérôme'ом, поправившим меня в фразе, которую я сказал за обедом, говоря, что красивее говорить *je puis*<sup>39</sup>, чем *je reux*.<sup>40</sup> Должен однако сознаться, что мне было несколько неприятно то, что никто не обратил особенного внимания на мою кротость и добродетель. Любочка показала мне после обеда бумажку, на которой она записала все свои грехи; я нашел, что это очень хорошо, но что еще лучше в душе своей записать все свои грехи, и что «всё это не то».

– Отчего же не то? – спросила Любочка.

– Ну, да и это хорошо; ты меня не поймешь. – И я пошел к себе наверх, сказав St.-Jérôme'у, иду заниматься, но собственно с тем, чтобы до исповеди, до которой оставалось часа полтора, написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым всегда уже, не отступая, действовать.

<sup>39</sup> [я могу.]

<sup>40</sup> [я могу.]

## ГЛАВА V. ПРАВИЛА.

Я достал лист бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлиновать бумагу. Но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексикон. Кроме того, что, проведя пером вдоль лексикона и потом отодвинув его, оказалось, что вместо черты я сделал по бумаге продолговатую лужу чернил, – лексикон не хватал на всю бумагу, и черта загнулась по его мягкому углу. Я взял другую бумагу и, передвигая лексикон, разлиновал кое-как. Разделив свои обязанности на три рода: на обязанности к самому себе, к ближним и к Богу, я начал писать первые, но их оказалось так много и столько родов и подразделений, что надо было прежде написать «Правила Жизни», а потом уже приняться за расписание. Я взял шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: «Правила Жизни». Эти два слова были написаны так криво и неровно, что я долго думал: не переписать ли? и долго мучался, глядя на разорванное расписание и это уродливое заглавие, Зачем всё так прекрасно, ясно у меня в душе, и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?...

– Духовник приехали, пожалуйста вниз правила слушать, – пришел доложить Николай.

Я спрятал тетрадь в стол, посмотрел в зеркало, причесал волосы кверху, что, по моему убеждению, давало мне задумчивый вид, и сошел в диванную, где уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Папа в одно время со мною вошел из другой двери. Духовник, седой монах, с строгим старческим лицом, благословил папа. Папа поцаловал его небольшую, широкую, сухую руку; я сделал то же.

– Позовите Вольдемара, – сказал папа. – Где он? Или нет, ведь он в университете говееет.

– Он занимается с князем, – сказала Катенька и посмотрела на Любочку. Любочка вдруг покраснела от чего-то, сморщилась, притворясь, что ей что-то больно, и вышла из комнаты. Я вышел вслед за нею. Она остановилась в гостиной и что-то снова записала карандашиком на свою бумажку.

– Что, еще новый грех сделала? – спросил я,

– Нет, ничего так, – отвечала она, краснея.

В это время в передней послышался голос Дмитрия, который прощался с Володей.

– Вот, тебе всё искушение, – сказала Катенька, входя в комнату и обращаясь к Любочке

Я не мог понять, что делалось с сестрой: она была сконфужена так, что слезы выступили у нее на глаза, и что смущение ее, дойдя до крайней степени, перешло в досаду на себя и на Катеньку, которая, видимо, дразнила ее.

– Вот видно, что ты *иностранка* (ничего не могло быть обиднее для Катеньки названия иностранки, с этой-то целью и употребила его Любочка), – перед таким таинством, – продолжала она с важностью в голосе, – и ты меня нарочно расстроиваешь.... ты бы должна понимать.... это совсем не шутка....

– Знаешь, Николенька, что она написала? – сказала Катенька, разобиженная названием *иностранки*; – она написала....

– Не ожидала я, чтоб ты была такая злая, – сказала Любочка, совершенно разнюнившись, уходя от нас: – в такую минуту, и нарочно, целый век, всё вводит в грех. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями.

## ГЛАВА VI. ИСПОВЕДЬ.

С этими и подобными рассеянными размышлениями я вернулся в диванную, когда все собрались туда, и духовник, встав, приготовился читать молитву перед исповедью. Но как только, посреди общего молчания, раздался выразительный, строгий голос монаха, читавшего молитву, и особенно когда произнес к нам слова: *откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится перед Богом, а ежели утаите что-нибудь, большой грех будете иметь*, – ко мне возвратилось чувство благоговейного трепета, которое я испытывал утром при мысли о предстоящем таинстве. Я даже находил наслаждение в сознании этого состояния и старался удержать его, останавливая все мысли, которые мне приходили в голову, и усиливаясь чего-то бояться.

Первый прошел исповедоваться папа. Он очень долго пробыл в бабушкиной комнате, и во всё это время мы все в диванной молчали или шопотом переговаривались о том, кто пойдет прежде. Наконец, опять из двери послышался голос монаха, читавшего молитву, и шаги папа. Дверь скрипнула, и он вышел оттуда, по своей привычке покашливая, подергивая плечом и не глядя ни на кого из нас.

– Ну, теперь ты ступай, Люба, да смотри всё скажи. Ты ведь у меня большая грешница, – весело сказал папа, щипнув ее за щеку.

Любочка побледнела и покраснела, вынула и опять спрятала записочку из фартука и, опустив голову, как-то укоротив шею, как будто ожидая удара сверху, прошла в дверь. Она пробыла там недолго, но, выходя оттуда, у нее плечи подергивались от всхлипываний.

Наконец, после хорошенькой Катеньки, которая, улыбаясь, вышла из двери, настал и мой черед. Я с тем же тупым страхом и желанием умышленно всё больше и больше возбуждать в себе этот страх вошел в полуосвещенную комнату. Духовник стоял перед налоем и медленно обратил ко мне свое лицо.

Я пробыл не более пяти минут в бабушкиной комнате, но вышел оттуда счастливым и, по моему тогдашнему убеждению, совершенно чистым, нравственно переродившимся и новым человеком. Несмотря на то, что меня неприятно поражала вся старая обстановка жизни, те же комнаты, те же мебели, та же моя фигура (мне бы хотелось, чтоб всё внешнее изменилось так же, как, мне казалось, я сам изменился внутренне), – несмотря на это, я пробыл в этом отрадном настроении духа до самого того времени, как лег в постель.

Я уже засыпал, перебирая воображением все грехи, от которых очистился, как вдруг вспомнил один стыдный грех, который утаил на исповеди. Слова молитвы перед исповедью вспомнились мне и не переставая звучали у меня в ушах. Всё мое спокойствие мгновенно исчезло. «А ежели утаите, большой грех будете иметь....» слышалось мне беспрестанно, и я видел себя таким страшным грешником, что не было для меня достойного наказания. Долго я ворочался с боку на бок, передумывая свое положение и с минуты на минуту ожидая божьего наказания и даже внезапной смерти, – мысль, приводившая меня в неописанный ужас. Но вдруг мне пришла счастливая мысль: чем свет итти или ехать в монастырь к духовнику и снова исповедаться – и я успокоился.

## ГЛАВА VII. ПОЕЗДКА В МОНАСТЫРЬ.

Я несколько раз просыпался ночью, боясь проспать утро, и в шестом часу уж был на ногах. В окнах едва брезжилось. Я надел свое платье и сапоги, которые, скомканные и нечищенные, лежали у постели, потому что Николай еще не успел убрать, и, не молясь Богу, не умываясь, вышел в первый раз в жизни один на улицу.

На противоположной стороне, из-за зеленой крыши большого дома, краснелась туманная, студеная заря. Довольно сильный утренний весенний мороз сковал грязь и ручьи, колот под ногами и щипал мне лицо и руки. В нашем переулке не было еще ни одного извозчика, на которых я рассчитывал, чтобы скорее съездить и вернуться. Только тянулись какие-то возы по Арбату, и два рабочие каменщика, разговаривая, прошли по тротуару. Пройдя шагов тысячу, стали попадаться люди и женщины, шедшие с корзинками на рынок; бочки, едущие за водой; на перекресток вышел пирожник; открылась одна калашная, и у Арбатских ворот попался извозчик, старичок, спавший, покачиваясь, на своих калиберных, облезлых, голубоватеньких и заплатанных дрожках. Он спросонков, должно быть, запросил с меня всего двугривенный до монастыря и назад, но потом вдруг опомнился и, только-что я хотел садиться, захлестал свою лошаденку концами вожжей и совсем было уехал от меня. «Кормить лошадь надо! нельзя, барин», бормотал он.

Насилу я уговорил его остановиться, предложив ему два двугривенных. Он остановил лошадь, внимательно осмотрел меня и сказал: «садись, барин». Признаюсь, я боялся несколько, что он завезет меня в глухой переулок и ограбит. Ухватив его за воротник изорванного армячишка, причем его сморщенная шея над сильно сторбленной спиной как-то жалобно обнажалась, я влез верхом на волнообразное голубенькое колыхающееся сиденье, и мы затряслись вниз по Воздвиженке. Дорогой я успел заметить, что спинка дрожек была обита кусочком зеленоватенькой материи, из которой был и армяк извозчика; это обстоятельство почему-то успокоило меня, и я уже не боялся, что извозчик завезет меня в глухой переулок и ограбит.

Солнце уже поднялось довольно высоко и ярко золотило куполы церквей, когда мы подъехали к монастырю. В тени еще держался мороз, но по всей дороге текли быстрые, мутные ручьи, и лошадь шлепала по оттаявшей грязи. Войдя в монастырскую ограду, у первого лица, которое я увидал, я спросил, как бы мне найти духовника.

– Вон его келья, – сказал мне проходивший монах, останавливаясь на минуту и указывая на маленький домик с крылечком.

– Покорно вас благодарю, – сказал я...

Но что обо мне могли думать монахи, которые, друг за другом выходя из церкви, все глядели на меня? Я был ни большой, ни ребенок; лицо мое было не умыто, волосы не причесаны, платье в пуху, сапоги не чищены и еще в грязи. К какому разряду людей относили меня мысленно монахи, глядевшие на меня? А они смотрели на меня внимательно. Однако я всё-таки шел по направлению, указанному мне молодым монахом.

Старичок в черной одежде, с густыми седыми бровями, встретился мне на узенькой дорожке, ведущей к кельям, и спросил: «что мне надо?»

Была минута, что я хотел сказать «ничего», бежать назад к извозчику и ехать домой, но, несмотря на надвинутые брови, лицо старика внушало доверие. Я сказал, что мне нужно видеть духовника, назвав его по имени.

– Пойдемте, *барчук*, я вас проведу, – сказал он, поворачиваясь назад и, повидимому, сразу угадав мое положение: – батюшка в утрени – он скоро пожалует.

Он отворил дверь и через чистенькие сени и переднюю, по чистому полотняному полу, провел меня в келью.

– Вот тут и подождите, – сказал он мне с добродушным, успокоительным выражением и вышел.

Комнатка, в которой я находился, была очень невелика и чрезвычайно опрятно убрана. Всю мебель составляли столик, покрытый клеенкой, стоявший между двумя маленькими створчатыми окнами, на которых стояли два горшка герания, стоечка с образами и лампадка, висевшая перед ними, одно кресло и два стула. В углу висели стенные часы с разрисованным цветочками циферблатом и подтянутыми на цепочках медными гирями; на перегородке, соединявшейся с потолком деревянными, выкрашенными известкой, палочками (за которой, верно, стояла кровать), висело на гвоздиках две рясы.

Окна выходили на какую-то белую стену, видневшуюся в двух аршинах от них. Между ими и стеной был маленький куст сирени. Никакой звук снаружи не доходил в комнату, так что в этой тишине равномерное, приятное постукивание маятника казалось сильным звуком. Как только я остался один в этом тихом уголке, вдруг все мои прежние мысли и воспоминания выскочили у меня из головы, как будто их никогда не было, и я весь погрузился в какую-то невыразимо приятную задумчивость. Эта нанковая пожелтевшая ряса с протертой подкладкой, эти истертые кожаные черные переплеты книг с медными застежками, эти мутно-зеленые цветы с тщательно политой землей и обмытыми листьями, а особенно этот однообразно прерывистый звук маятника – говорили мне внятно про какую-то новую, доселе бывшую мне неизвестной, жизнь, про жизнь уединения, молитвы, тихого, спокойного счастья....

«Проходят месяцы, проходят годы, – думал я, – он всё один, он всё спокоен, он всё чувствует, что совесть его чиста пред Богом, и молитва услышана Им». С полчаса я просидел на стуле, стараясь не двигаться и не дышать громко, чтобы не нарушать гармонию звуков, говоривших мне так много. А маятник всё стучал так же – направо громче, налево тише.

## ГЛАВА VIII. ВТОРАЯ ИСПОВЕДЬ.

Шаги духовника вывели меня из этой задумчивости.

– Здравствуйте, – сказал он, поправляя рукой свои седые волосы. – Что вам угодно?

Я попросил его благословить меня и с особенным удовольствием поцаловал его желтоватую, небольшую руку.

Когда я объяснил ему свою просьбу, он ничего не сказал мне, подошел к иконам и начал исповедь.

Когда исповедь кончилась, и я, преодолев стыд, сказал всё, что было у меня на душе, он положил мне на голову руки и своим звучным, тихим голосом произнес: «да будет, сын мой, над тобою благословение Отца Небесного, да сохранит Он в тебе навсегда веру, кротость и смирение. Аминь».

Я был совершенно счастлив; слезы счастья подступали мне к горлу, я поцаловал складку его драдедамовой рясы и поднял голову. Лицо монаха было совершенно спокойно.

Я чувствовал, что наслаждаюсь чувством умиления, и, боясь чем-нибудь разогнать его, торопливо простился с духовником и, не глядя по сторонам, чтобы не рассеяться, вышел за ограду и снова сел на колыхающиеся полосатые дрожки. Но толчки экипажа, пестрота предметов, мелькавших перед глазами, скоро разогнали это чувство; и я уже думал о том, как теперь духовник, верно, думает, что такой прекрасной души молодого человека, как я, он никогда не встречал в жизни, да и не встретит, что даже и не бывает подобных. Я в этом был убежден; и это убеждение произвело во мне чувство веселья такого рода, которое требовало того, чтобы кому-нибудь сообщить его.

Мне ужасно хотелось поговорить с кем-нибудь; но так как никого под рукой не было, кроме извозчика, я обратился, к нему.

– Что, долго я был? – спросил я.

– Ничего-таки, долго, а лошадь давно кормить пора; ведь я *ночной*, – отвечал старичок-извозчик, теперь, повидимому, с солнышком повеселевший сравнительно с прежним.

– А мне показалось, что я был всего одну минуту, – сказал я. – А знаешь, зачем я был в монастыре? – прибавил я, пересаживаясь в углублении, которое было на дрожках ближе к старичку-извозчику.

– Наше дело какое? Куда седок скажет, туда и везем, – отвечал он.

– Нет, всё-таки, как ты думаешь? – продолжал я допрашивать.

– Да, верно, хоронить кого, ездили место покупать, – сказал он.

– Нет, братец; а знаешь, зачем я ездил?

– Не могу знать, барин, – повторил он.

Голос извозчика показался мне таким добрым, что я решился в назидание его рассказать ему причины моей поездки и даже чувство, которое я испытывал.

– Хочешь, я тебе расскажу? Вот видишь ли....

И я рассказал ему всё и описал все свои прекрасные чувства. Я даже теперь краснею при этом воспоминании.

– Так-с, – сказал извозчик недоверчиво.

И долго после этого молчал и сидел недвижно, только изредка поправляя полу армяка, которая всё выбивалась из-под его полосатой ноги, прыгавшей в большом сапоге на подножке калибера. Я уже думал, что и он думает про меня то же, что духовник, то есть, что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете; но он вдруг обратился ко мне.

– А что, барин, ваше дело господское.

– Что? – спросил я.

– Дело-то, дело господское, – повторил он, шамкая беззубыми губами.

«Нет, он меня не понял», подумал я, но уже больше не говорил с ним до самого дома.

Хотя не самое чувство умиления и набожности, но самодовольство в том, что я испытал его, удержалось во мне всю дорогу, несмотря на народ, который при ярком солнечном блеске пестрел везде на улицах; но как только я приехал домой, чувство это совершенно исчезло. У меня не было двух двугривенных, чтоб заплатить извозчику. Дворецкий Гаврило, которому я уже был должен, не давал мне больше займы. Извозчик, увидав, как я два раза пробежал по двору, чтоб доставать деньги, должно быть догадавшись, зачем я бегаю, слез с дрожек и, несмотря на то, что казался мне таким добрым, громко начал говорить, с видимым желанием уколоть меня, о том, как бывают шаромыжники, которые не платят за езду.

Дома еще все спали, так что, кроме людей, мне не у кого было занять двух двугривенных. Наконец Василий под самое честное, честное слово, которому (я по лицу его видел) он не верил нисколько, но так, потому что любил меня и помнил услугу, которую я ему оказал, заплатил за меня извозчику. Так дымом разлетелось это чувство. Когда я стал одеваться в церковь, чтоб со всеми вместе итти причащаться, и оказалось, что мое платье не было перешито и его нельзя было надеть, я пропасть нагрешил. Надев другое платье, я пошел к причастию, в каком-то странном положении торопливости мыслей и с совершенным недоверием к своим прекрасным наклонностям.

## ГЛАВА IX. КАК Я ГОТОВЛЮСЬ К ЭКЗАМЕНУ.

В четверг на Святой папа, сестра и Мими с Катенькой уехали в деревню, так что во всем большом бабушкином доме оставались только Володя, я и St.-Jérôme. То настроение духа, в котором я находился в день исповеди и поездки в монастырь, совершенно прошло и оставило по себе только смутное, хотя и приятное, воспоминание, которое всё более и более заглушалось новыми впечатлениями свободной жизни.

Тетрадь с заглавием *Правила жизни* тоже была спрятана с черновыми ученическими тетрадями. Несмотря на то, что мысль о возможности составить себе правила на все обстоятельства жизни и всегда руководиться ими нравилась мне, казалась чрезвычайно простою и вместе великою, и я намеревался всё-таки приложить ее к жизни, я опять как будто забыл, что это нужно было делать сейчас же, и всё откладывал до такого-то времени. Меня утешало однако то, что всякая мысль, которая приходила мне теперь в голову, подходила как раз под какое-нибудь из подразделений моих правил и обязанностей: или к правилам в отношении к ближним, или к себе, или к Богу. «Вот тогда я это отнесу туда и еще много, много мыслей, которые мне придут тогда, по этому предмету», говорил я сам себе. Часто теперь я спрашиваю себя: когда я был лучше и правее: тогда ли, когда верил во всемогущество ума человеческого, или теперь, когда, потеряв силу развития, сомневаюсь в силе и значении ума человеческого? – и не могу себе дать положительного ответа.

Сознание свободы и то весеннее чувство ожидания чего-то, про которое я говорил уже, до такой степени взволновали меня, что я решительно не мог совладеть с самим собою и приготавливался к экзамену очень плохо. Бывало утром занимаешься в классной комнате и знаешь, что необходимо работать, потому что завтра экзамен из предмета, в котором целых два вопроса еще не прочитаны мной, но вдруг пахнет из окна каким-нибудь весенним духом, – покажется, будто что-то крайне нужно сейчас вспомнить, руки сами собою опускают книгу, ноги сами собою начинают двигаться и ходить взад и вперед, а в голове, как будто кто-нибудь пожал пружинку и пустил в ход машину, в голове так легко и естественно, и с такою быстротою начинают пробегать разные пестрые, веселые мечты, что только успеваешь замечать блеск их. И час, и два проходят незаметно. Или тоже сидишь за книгой и кое-как сосредоточишь всё внимание на то, что читаешь, вдруг по коридору услышишь женские шаги и шум платья, – и всё выскочило из головы, и нет возможности усидеть на месте, хотя очень хорошо знаешь, что, кроме Гаши, старой бабушкиной горничной, никто не мог пройти по коридору. «Ну, а ежели это вдруг *она?* – приходит в голову, – ну, а если теперь-то вот и начнется, а я пропущу?» – и выскакиваешь в коридор, видишь, что это точно Гаша; но уж долго потом не совладеешь с головой. Пружинка пожата, и опять пошла кутерьма страшная. Или вечером сидишь один с сальной свечой в своей комнате; вдруг на секунду, чтоб снять со свечи или поправиться на стуле, отрываешься от книги и видишь, что везде в дверях, по углам темно, и слышишь, что везде в доме тихо, – опять невозможно не остановиться и не слушать этой тишины, и не смотреть на этот мрак отворенной двери в темную комнату, и долго-долго не пробыть в неподвижном положении или не пойти вниз и не пройти по всем пустым комнатам. Часто, тоже, долго по вечерам я просиживал незамеченным в зале, прислушиваясь к звуку «соловья», которого двумя пальцами наигрывала на фортепьянах Гаша, сидя одна при сальной свечке в большой зале. А уж при лунном свете я решительно не мог не вставать с постели и не ложиться на окно в палисадник и, вглядываясь в освещенную крышу Шапошникова дома, и стройную колокольню нашего прихода, и в вечернюю тень забора и куста, ложившуюся на дорожку садика, не мог не просиживать так долго, что потом просыпался с трудом только в десять часов утра.

Так что ежели бы не учителя, которые продолжали ходить ко мне, не St.-Jérôme, который изредка нехотя подстрекал мое самолюбие, и, главное, не желание показаться дельным малым в глазах моего друга Нехлюдова, т. е. выдержать отлично экзамен, что по его понятиям было очень важною вещью, – ежели бы не это, – то весна и свобода сделали бы то, что я забыл бы даже всё то, что знал прежде, и ни за что бы не выдержал экзамена.

## ГЛАВА X. ЭКЗАМЕН ИСТОРИИ.

16 апреля я в первый раз под покровительством St.-Jérôme'a вошел в большую университетскую залу. Мы приехали с ним в нашем довольно щегольском фаэтоне. Я был во фраке в первый раз в моей жизни, и всё платье, даже белье, чулки, было на мне самое новое и лучшее. Когда швейцар снял с меня внизу шинель, и я предстал пред ним во всей красоте своей одежды, мне даже стало несколько совестно за то, что я так ослепителен. Однако, едва только я вступил в светлую паркетную залу, наполненную народом, и увидел сотни молодых людей в гимназических мундирах и во фраках, из которых некоторые равнодушно взглянули на меня, и в дальнем конце важных профессоров, свободно ходивших около столов и сидевших в больших креслах, как я в ту же минуту разочаровался в надежде обратить на себя общее внимание, и выражение моего лица, означавшее дома и еще в сенях как бы сожаление в том, что я против моей воли имею вид такой благородный и значительный, заменилось выражением сильнейшей робости и некоторого уныния. Я даже впал в другую крайность и обрадовался весьма, увидав на ближайшей лавке одного чрезвычайно дурно, нечистоплотно одетого господина, еще не старого, но почти совсем седого, который, в отдалении от других, сидел на задней лавке. Я тотчас же подсел к нему и стал рассматривать экзаменующихся и делать о них свои заключения. Много тут было разнообразных фигур и лиц, но все они по моим тогдашним понятиям легко распределялись на три рода.

Были такие же, как я, явившиеся на экзамен с гувернерами или родителями, и в числе их меньшей Ивин с знакомым мне Фростом и Илинька Грап с своим старым отцом. Все таковые были с пушистыми подбородками, имели выпущенное белье и сидели смирно, не раскрывая книг и тетрадей, принесенных с собою, и с видимой робостью смотрели на профессоров и экзаменные столы. Второго рода экзаменующиеся были молодые люди в гимназических мундирах, из которых многие уже брили бороды. Эти были большей частью знакомы между собой, говорили громко, по имени и отчеству называли профессоров, тут же готовили вопросы, передавали друг другу тетради, шагали через скамейки, из сеней приносили пирожки и бутерброды, которые тут же съедали, только немного наклонив голову на уровень лавки. И наконец третьего рода экзаменующиеся, которых, впрочем, было немного, были совсем старые, во фраках, но большей частью в сюртуках и без видимого белья. Эти держали себя весьма серьезно, сидели уединенно и имели вид очень мрачный. Тот, который утешил меня тем, что наверно был одет хуже меня, принадлежал к этому последнему роду. Он, облокотившись на обе руки, сквозь пальцы которых торчали всклокоченные полуседые волосы, читал в книге и, только на мгновение взглянув на меня не совсем доброжелательно своими блестящими глазами, мрачно нахмурился и еще выставил в мою сторону глянцевиный локоть, чтоб я не мог подвинуться к нему ближе. Гимназисты, напротив, были слишком общительны, и я их немножко боялся. – Один, сунув мне в руку книгу, сказал: «передайте вон ему»; другой, проходя мимо меня, сказал: «пустите-ка, батюшка»; третий, перелезая через лавку, уперся на мое плечо, как на скамейку. Всё это мне было дико и неприятно; я считал себя гораздо выше этих гимназистов и полагал, что они не должны были позволять себе со мною такой фамильярности. Наконец начали вызывать фамилии; гимназисты выходили смело и отвечали большей частью хорошо, возвращались весело; наша братья робела гораздо более, да и, как кажется, отвечала хуже. Из старых некоторые отвечали превосходно, другие очень плохо. Когда вызвали Семенова, то мой сосед с седыми волосами и блестящими глазами, грубо толкнув меня, перелез через мои ноги и пошел к столу. Как было заметно по виду профессоров, он отвечал отлично и смело. Возвратившись к своему месту, он, не узнавая о том, сколько ему поставили, спокойно взял свои тетрадки и вышел. Уж несколько раз я содрогался при звуке голоса, вызывающего фамилии, но еще до

меня не доходила очередь по алфавитному списку, хотя уже вызывали фамилии, начинавшиеся с К. «Иконин и Теньев», вдруг прокричал кто-то из профессорского угла. Мороз пробежал у меня по спине и в волосах.

– Кого звали? Кто Бартеньев? – заговорили вокруг меня.

– Иконин, иди, тебя зовут; да кто же Бартеньев, Морденьев? я не знаю, признавайся, – говорил высокий, румяный гимназист, стоявший за мной.

– Вам, – сказал St.-Jérôme.

– Моя фамилия Иртеньев, – сказал я румяному гимназисту. – Разве Иртеньева звали?

– Ну, да; что ж вы нейдете?... «Вишь какой франт!» – прибавил он не громко, но так, что я слышал его слова, выходя из-за скамейки. Впереди меня шел Иконин, высокий молодой человек лет двадцати пяти, принадлежавший к третьему роду, старых. На нем был оливковый узенький фрак, атласный синий галстук, на котором лежали сзади длинные белокурые волосы, тщательно причесанные à la мужик. Я заметил его наружность еще на лавках. Он был недурен собою, разговорчив; и меня особенно поразили в нем странные рыжие волосы, которые он отпустил себе на горле, и еще более странная привычка, которую он имел – беспрестанно расстегивать жилет и чесать себе грудь под рубашкой.

Три профессора сидели за тем столом, к которому я подошел вместе с Икониним; ни один из них не ответил на наш поклон. Молодой профессор тасовал билеты, как колоду карт, другой профессор, с звездой на фраке, смотрел на гимназиста, говорившего что-то очень скоро про Карла Великого, к каждому слову прибавляя «наконец», и третий, старичок в очках, опустив голову, посмотрел на нас через очки и указал на билеты. Я чувствовал, что взгляд его был совокупно обращен на меня и Иконина, и что в нас не понравилось ему что-то (может быть, рыжие волосы Иконина), потому что он сделал, глядя опять-таки на обоих нас вместе, нетерпеливый жест головой, чтоб мы скорее брали билеты. Мне было досадно и оскорбительно, во-первых, то, что никто не ответил на наш поклон, а во-вторых, то, что меня видимо соединяли с Икониним в одно понятие *экзаменующихся* и уже предубеждены против меня за рыжие волосы Иконина. Я взял билет без робости и готовился отвечать; но профессор указал глазами на Иконина. Я прочел свой билет: он был мне знаком, и я, спокойно ожидая своей очереди, наблюдал то, что происходило передо мной. Иконин нисколько не оробел и даже слишком смело, как-то всем боком двинулся, чтоб взять билет, встряхнул волосами и бойко прочел то, что было написано на билете. Он открыл было рот, как мне казалось, чтобы начать отвечать, как вдруг профессор со звездой, с похвалой отпустив гимназиста, посмотрел на него. Иконин как будто что-то вспомнил и остановился. Общее молчание продолжалось минуты две.

– Ну, – сказал профессор в очках.

Иконин открыл рот и снова замолчал.

– Ведь не вы одни; извольте отвечать, или нет? – сказал молодой профессор, но Иконин даже не взглянул на него. Он пристально смотрел в билет и не произнес ни одного слова. Профессор в очках смотрел на него, и сквозь очки, и через очки, и без очков, потому что успел в это время снять их, тщательно протереть стекла и снова надеть. Иконин не произнес ни одного слова. Вдруг улыбка блеснула на его лице, он встряхнул волосами, опять всем боком развернувшись к столу, положил билет, взглянул на всех профессоров поочередно, потом на меня, повернулся и бодрым шагом, размахивая руками, вернулся к лавкам. Профессора переглянулись между собой.

– Хорош голубчик! – сказал молодой профессор, – своекоштный!

Я подвинулся ближе к столу, но профессора продолжали почти шопотом говорить между собой, как будто никто из них и не подозревал моего присутствия. Я был тогда твердо убежден, что всех трех профессоров чрезвычайно занимал вопрос о том, выдержу ли я экзамен и хорошо ли я его выдержу, но что они так только, для важности, притворялись, что это им совершенно всё равно, и что они будто бы меня не замечают.

Когда профессор в очках равнодушно обратился ко мне, приглашая отвечать на вопрос, то, взглянув ему в глаза, мне немножко совестно было за него, что он так лицемерил передо мной, и я несколько замялся в начале ответа; но потом пошло легче и легче, и так как вопрос был из русской истории, которую я знал отлично, то я кончил блистательно и даже до того разошёлся, что, желая дать почувствовать профессорам, что я не Иконин, и что меня смешивать с ним нельзя, предложил взять ещё билет; но профессор, кивнув головой, сказал: «хорошо», и отметил что-то в журнале. Возвратившись к лавкам, я тотчас же узнал от гимназистов, которые, Бог их знает как, всё узнавали, что мне было поставлено пять.

## ГЛАВА XI. ЭКЗАМЕН МАТЕМАТИКИ.

На следующих экзаменах, кроме Грапа, которого я считал недостойным своего знакомства, и Ивина, который почему-то дичился меня, я уже имел много новых знакомых. Некоторые уже здоровались со мной. Иконин даже обрадовался, увидав меня, и сообщил мне, что он будет переэкзаменовываться из истории, что профессор истории зол на него еще с прошлого года экзамена, на котором он будто бы тоже *сбил* его. Семенов, который поступал в один факультет со мной, в математический, до конца экзаменов всё-таки дичился всех, сидел молча один, облокотясь на руки и засунув пальцы в свои седые волосы, и экзаменовался отлично. Он был вторым; первым же был гимназист первой гимназии. Это был высокий худощавый брюнет, весьма бледный, с подвязанной черным галстуком щекой и покрытым прыщами лбом. Руки у него были худые, красные, с чрезвычайно длинными пальцами, и ногти обкусаны так, что концы пальцев его казались перевязаны ниточками. Всё это мне казалось прекрасным и таким, каким должно было быть *у первого гимназиста*. Он говорил со всеми так же, как и все, даже и я с ним познакомился, но всё-таки, как мне казалось, в его походке, движениях губ и черных глазах было заметно что-то необыкновенное, *магнетическое*.

На экзамен математики я пришел раньше обыкновенного. Я знал предмет порядочно, но было два вопроса из алгебры, которые я как-то утаил от учителя, и которые мне были совершенно неизвестны. Это были, как теперь помню: теории сочетаний и бином Ньютона. Я сел на заднюю лавку и просматривал два незнакомые вопроса; но непривычка заниматься в шумной комнате и недостаточность времени, которую я предчувствовал, мешали мне вникнуть в то, что я читал.

– Вот он, поди сюда, Нехлюдов, – послышался за мной знакомый голос Володи.

Я обернулся и увидел брата и Дмитрия, которые в расстегнутых сюртуках, размахивая руками, проходили ко мне между лавок. Сейчас видны были студенты второго курса, которые в университете, как дома. Один вид их расстегнутых сюртуков выражал презрение к нашему брату поступающему, и нашему брату поступающему внушал зависть и уважение. Мне было весьма лестно думать, что все окружающие могли видеть, что я знаком с двумя студентами второго курса, и я поскорее встал им навстречу.

Володя даже не мог удержаться, чтоб не выразить чувства своего превосходства.

– Эх, ты, горемычный! – сказал он: – что, не экзаменовался еще?

– Нет.

– Что ты читаешь? Разве не приготовил?

– Да, два вопроса не совсем. Тут не понимаю.

– Что? Вот это? – сказал Володя и начал мне объяснять бином Ньютона, но так скоро и неясно, что, в моих глазах прочтя недоверие к своему знанию, он взглянул на Дмитрия и, в его глазах, должно быть, прочтя то же, покраснел, но всё-таки продолжал говорить что-то, чего я не понимал.

– Нет, постой, Володя, дай я с ним пройду, коли успеем, – сказал Дмитрий, взглянув на профессорский угол, и подсел ко мне.

Я сейчас заметил, что друг мой был в том самодовольно-кротком расположении духа, которое всегда на него находило, когда он бывал доволен собой, и которое я особенно любил в нем. Так как математику он знал хорошо и говорил ясно, он так славно прошел со мной вопрос, что до сих пор я его помню. Но едва он кончил, как St.-Jérôme громким шопотом прогово-

рил: «à vous, Nicolas!»<sup>41</sup> – и я вслед за Икониным вышел из-за лавки, не успев пройти другого незнакомого вопроса. Я подошел к столу, у которого сидело два профессора и стоял гимназист перед черной доской. Гимназист бойко выводил какую-то формулу, со стуком ломая мел о доску, и всё писал, несмотря на то, что профессор уже сказал ему: «довольно», и велел нам взять билеты. «Ну, что, ежели достанется теория сочетаний!» подумал я, доставая дрожащими пальцами билет из мягкой кипы нарезанных бумажек. Иконин с тем же смелым жестом, как и в прошедший экзамен, раскачнувшись всем боком, не выбирая, взял верхний билет, взглянул на него и сердито нахмурился.

– Всё этикие черти попадаются! – пробормотал он.

Я посмотрел на свой.

О, ужас! это была теория сочетаний!...

– А у вас какой? – спросил Иконин.

Я показал ему.

– Этот я знаю, – сказал он.

– Хотите меняться?

– Нет, всё равно, я чувствую, что не в духе, – едва успел прошептать Иконин, как профессор уж подозвал нас к доске.

«Ну, всё пропало! – подумал я: – вместо блестящего экзамена, который я думал сделать, я навеки покроюсь срамом, хуже Иконина». Но вдруг Иконин, в глазах профессора, повернулся ко мне, вырвал у меня из рук мой билет и отдал мне свой. Я взглянул на билет. Это был бином Ньютона.

Профессор был не старый человек, с приятным, умным выражением, которое особенно давала ему чрезвычайно выпуклая нижняя часть лба.

– Что это, вы билетами меняетесь, господа? – сказал он.

– Нет, это он так, давал мне свой посмотреть, г. профессор, – нашелся Иконин, – и опять слово *г-н профессор* было последнее слово, которое он произнес на этом месте; и опять, проходя назад мимо меня, он взглянул на профессоров, на меня, улыбнулся и пожал плечами, с выражением, говорившим:

– Ничего, брат! (Я после узнал, что Иконин уже третий год являлся на вступительный экзамен.)

Я отвечал отлично на вопрос, который только-что прошел, – профессор даже сказал мне, что лучше, чем можно требовать, и поставил – 5.

---

<sup>41</sup> [вам, Николенька!]

## ГЛАВА XII. ЛАТИНСКИЙ ЭКЗАМЕН.

Всё шло отлично до латинского экзамена. Подвязанный гимназист был первым, Семенов – вторым, я – третьим. Я даже начинал гордиться и серьезно думать, что, несмотря на мою молодость, я совсем не шутка.

Еще с первого экзамена все с трепетом рассказывали про латинского профессора, который был будто бы какой-то зверь, наслаждавшийся гибелью молодых людей, особенно своекоштных, и говоривший будто бы только на латинском или греческом языке. St.-Jérôme, который был моим учителем латинского языка, ободрял меня, да и мне казалось, что, переводя без лексикона Цицерона, несколько од Горация и зная отлично Цумпта, я был приготовлен не хуже других, но вышло иначе. Всё утро только и было слышно, что о погибели тех, которые выходили прежде меня: тому поставил нуль, тому единицу, того еще разобрал и хотел выгнать и т. д., и т. д. Только Семенов и первый гимназист, как всегда, спокойно вышли и вернулись, получив по 5 каждый. Я уже предчувствовал несчастье, когда нас вызвали вместе с Икониним к маленькому столику, против которого страшный профессор сидел совершенно один. Страшный профессор был маленький, худой, желтый человек, с длинными масляными волосами и с весьма задумчивой физиономией.

Он дал Иконину книгу речей Цицерона и заставил переводить его.

К великому удивлению моему, Иконин не только прочел, но и перевел несколько строк с помощью профессора, который ему подсказывал. Чувствуя свое превосходство перед таким слабым соперником, я не мог не улыбнуться и даже несколько презрительно, когда дело дошло до анализа, и Иконин попрежнему погрузился в очевидно безвыходное молчание. Я этой умной, слегка насмешливой улыбкой хотел понравиться профессору, но вышло наоборот.

– Вы, верно, лучше знаете, что улыбаетесь, – сказал мне профессор дурным русским языком: – посмотрим. Ну, скажите вы.

Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину, и что Иконин даже жил у него. Я ответил тотчас же на вопрос из синтаксиса, который был предложен Иконину, но профессор сделал печальное лицо и отвернулся от меня.

– Хорошо-с, придет и ваш черед, увидим, как вы знаете, – сказал он, не глядя на меня, и стал объяснять Иконину то, об чем его спрашивал.

– Ступайте, – добавил он; и я видел, как он в тетради баллов поставил Иконину 4. «Ну, подумал я, он совсем не так строг, как говорили». После ухода Иконина он верных минут пять, которые мне показались за пять часов, укладывал книги, билеты, сморкался, поправлял кресла, разваливался на них, смотрел в залу, по сторонам и повсюду, но только не на меня. Всё это притворство показалось ему однако недостаточным, он открыл книгу и притворился, что читает ее, как будто меня вовсе тут не было. Я подвинулся ближе и кашлянул.

– Ах, да! еще вы? ну, переведите-ка что-нибудь, – сказал он, подавая мне какую-то книгу, – да нет, лучше вот эту. – Он перелистывал книгу Горация и развернул мне ее на таком месте, которое, как мне казалось, никто никогда не мог бы перевести.

– Я этого не готовил, – сказал я.

– А вы хотите отвечать то, что выучили наизусть, – хорошо! Нет, вот это переведите.

Кое-как я стал добираться до смысла, но профессор на каждый мой вопросительный взгляд качал головой и, вздыхая, отвечал только «нет». Наконец он закрыл книгу так нервически быстро, что захлопнул между листьями свой палец; сердито выдернув его оттуда, он дал мне билет из грамматики и, откинувшись назад на кресла, стал молчать самым зловещим образом. Я стал было отвечать, но выражение его лица сковывало мне язык, и всё, что бы я ни сказал, мне казалось не то.

– Не то, не то, совсем не то, – заговорил он вдруг своим гадким выговором, быстро переменяя положение, облачиваясь об стол и играя золотым перстнем, который у него слабо держался на худом пальце левой руки. – Так нельзя, господа, готовиться в высшее учебное заведение; вы всё хотите только мундир носить с синим воротником, верхов нахватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами; нет, господа, надо основательно изучать предмет, и т. д., и т. д.

Во всё время этой речи, произносимой коверканным языком, я с тупым вниманьем смотрел на его потупленные глаза. Сначала мучило меня разочарование не быть третьим, потом страх вовсе не выдержать экзамена, и наконец к этому присоединилось чувство сознания несправедливости, оскорбленного самолюбия и незаслуженного унижения; сверх того, презрение к профессору за то, что он не был, по моим понятиям, из людей *comme il faut*, – что я открыл, глядя на его короткие, крепкие и круглые ногти, – еще более разжигало во мне и делало ядовитыми все эти чувства. Взглянув на меня и заметив мои дрожащие губы и налитые слезами глаза, он перевел, должно быть, мое волнение просьбой прибавить мне балл и, как будто сжалившись надо мной, сказал (и еще при другом профессоре, который подошел в это время):

– Хорошо-с, я поставлю вам переходный балл (это значило два), хотя вы его не заслуживаете, но это только в уважение вашей молодости и в надежде, что вы в университете уже не будете так легкомысленны.

Последняя фраза его, сказанная при постороннем профессоре, который смотрел на меня так, как будто тоже говорил: «да, вот видите, молодой человек!» – окончательно смутила меня. Была одна минута, когда глаза у меня застлало туманом: страшный профессор с своим столом показался мне сидящим где-то вдали, и мне с страшной, односторонней ясностью пришла в голову дикая мысль: «а что, ежели...? что́ из этого будет?» Но я этого почему-то не сделал, а напротив, бессознательно, особенно почтительно поклонился обоим профессорам и, слегка улыбнувшись, кажется, той же улыбкой, какой улыбался Иконин, отошел от стола.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.